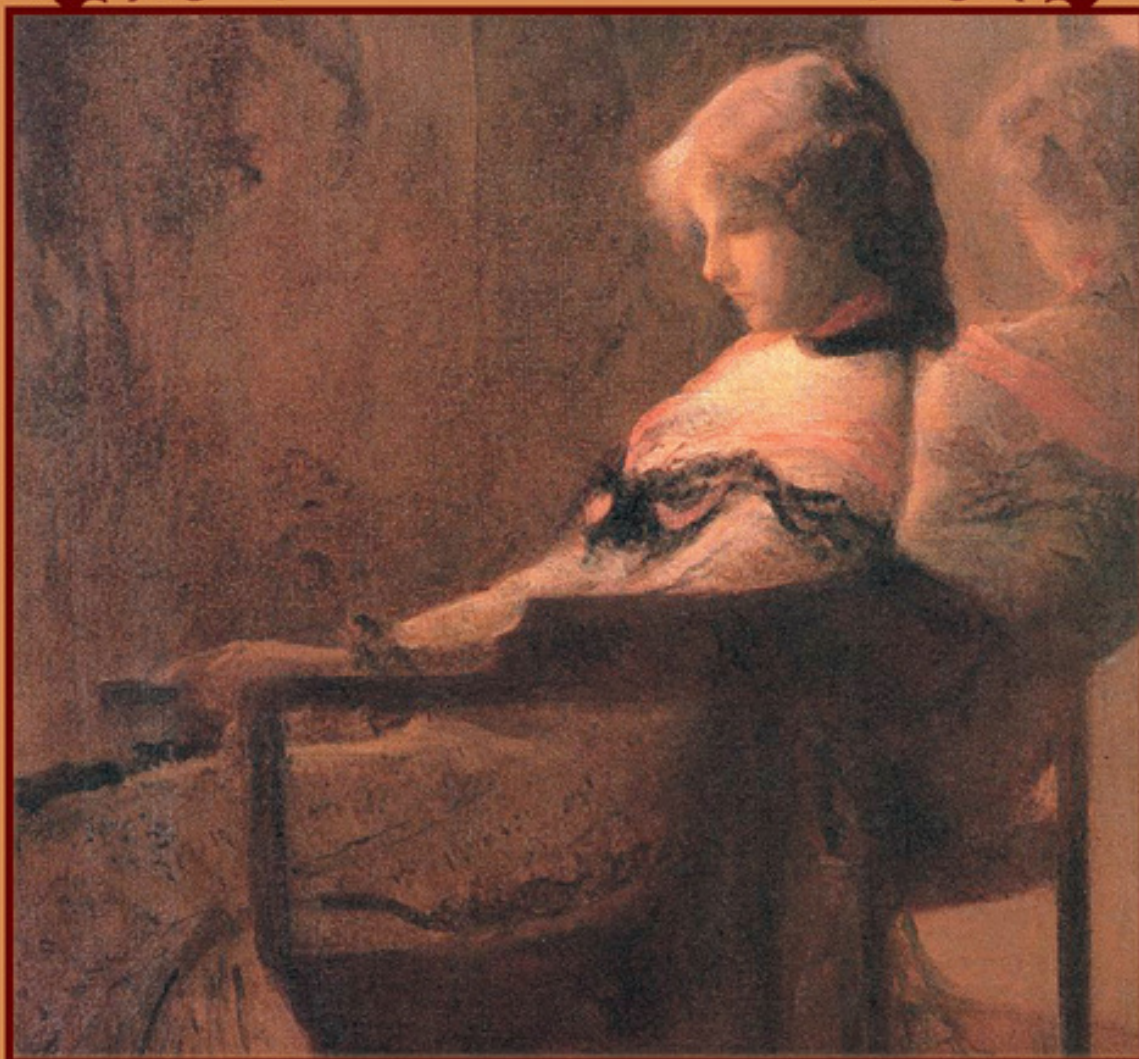


КНУТ
ГАМСУН

Голод
Пан
Виктория



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Кнут Гамсун

Голод. Пан. Виктория (сборник)

«Издательство АСТ»

«ФТМ»

1890, 1894, 1898

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44

Гамсун К.

Голод. Пан. Виктория (сборник) / К. Гамсун — «Издательство АСТ», «ФТМ», 1890, 1894, 1898 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-101420-9

Три самых известных произведения Кнута Гамсуна, в которых наиболее полно отразились основные темы его творчества. «Голод» – во многом автобиографичный роман, принесший автору мировую славу. Страшная в своей простоте история молодого непризнанного писателя, день за днем балансирующего на грани голодной смерти. Реальность и причудливые, болезненные фантазии переплетаются в его сознании, мучительно переживающем несоответствие между идеальным и материальным миром. . . «Пан» – повесть, в которой раскрыта тема свободы человека. Ее главный герой, лейтенант Глан, живущий отшельником в уединенной лесной хижине, оказывается в центре треугольника сложных отношений с двумя очень разными женщинами. . . «Виктория» – роман о борьбе человеческих чувств, емкий и драматичный сюжет которого повествует о глубокой, мучительной и невозможной любви двух людей из разных сословий – сына мельника Юханнеса и дочери сельского помещика Виктории. . .

УДК 821.113.5-31

ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-17-101420-9

© Гамсун К., 1890, 1894, 1898

© Издательство АСТ, 1890, 1894, 1898

© ФТМ, 1890, 1894, 1898

Содержание

Голод	6
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Кнут Гамсун
Голод. Пан. Виктория
Сборник

Knut Hamsun
Sult. Pan. Victoria

© Gyldendal Norsk Forlag AS, 1890, 1894, 1898
© Перевод. Е. Суриц, 2016
© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

* * *

Голод

Часть первая

Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает на человека свою печать...

Я лежу без сна у себя на чердаке и слышу, как часы внизу бьют шесть; уже совсем рассвело, началась беготня вверх и вниз по лестнице. У двери стена моей комнаты оклеена старыми номерами «Утренней газеты», и я четко вижу объявление смотрителя маяка, а чуть левее – жирную, огромную рекламу булочника Фабиана Ольсена, расхваливающую свежее испеченный хлеб.

Едва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня. В последнее время жилось мне довольно трудно; мои пожитки помаленьку переключивались к «Дядюшке Живодеру», я стал нервен и раздражителен, несколько дней мне пришлось даже пролежать в постели из-за головокружения. Временами, когда везло, мне удавалось получить пять крон за статейку в какой-нибудь газете.

Становилось все светлей, и я принялся читать объявления у двери; я даже мог разобрать тощие, похожие на оскаленные зубы буквы, которые возвещали, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший сазан». Это объявление долго занимало меня, и когда я, встав, начал одеваться, часы внизу пробили восемь.

Я открыл окно и выглянул во двор. Мне видна была веревка для сушки белья и пустырь; в отдалении чернел скелет сторевшей кузницы, где возились какие-то люди, разгребая угли. Я облокотился о подоконник и смотрел вдаль. Без сомнения, день будет ясный. Пришла осень, дивная, прохладная пора, все меняет цвет, увядает. На улицах уже поднялся шум, он манит меня выйти из дому; пустая комната, где половицы стонали от каждого моего шага, походила на трухлявый, отвратительный гроб; здесь не было ни порядочного замка на двери, ни печки; по ночам я обыкновенно клал носки под себя, чтобы они хоть немного высохли к утру. Единственным моим утешением была маленькая красная качалка, в которой я сидел вечерами, подремывал и думал о всякой всячине. Когда поднимался сильный ветер и входная дверь внизу бывала открыта, пол и стены пронзительно стонали на все лады, а в «Утренней газете» у двери появлялись щели длиною с мою руку.

Я отошел от окна и принялся искать в узелке, что лежал в углу, подле кровати, чем бы позавтракать, но ничего не нашел и снова вернулся к окну.

«Бог весть, – думал я, – удастся ли мне вообще приискать себе занятие!» Столько было отказов, полубещаний, решительных «нет», взлелеянных и обманутых надежд, новых и новых попыток, которые всякий раз кончались ничем, что я совсем утратил решимость. Наконец я попытался поступить в кассиры, но опоздал; и, кроме того, я не мог бы внести залога в пятьдесят крон. Вечно мне что-либо мешало. А еще я просился в пожарную команду. Нас там стояло с полсотни человек, и каждый выпячивал грудь, чтобы произвести впечатление силача и редкого смельчака. Меж нами расхаживал наниматель, осматривал претендентов, щупал мускулы, расспрашивал, а проходя мимо меня, только головой покачал да обронил, что люди в очках для этого дела не годятся. Я пришел снова уже без очков и стоял, насупившись, стараясь придать своему взгляду остроту ножа, но он снова прошел мимо меня и только улыбнулся, потому что узнал меня. В довершение всех зол, мое платье изнашивалось до такой степени, что я уже не казался работодателям приличным человеком.

Как медленно и неуклонно катился я под гору! Под конец у меня не осталось решительно ничего, даже гребенки или хотя бы книжки, которой я утешился бы в грустную минуту. Летом я всякий день уходил куда-нибудь на кладбище или в парк, где стоит замок, сидел там и писал статьи для газет, столбец за столбцом, и чего только не было в этих статьях, сколько удивительных выдумок, причуд, капризов моей беспокойной фантазии! Отчаявшись, я брал самые отвлеченные темы, эти статьи я сочинял много мучительных часов, и никто не хотел их печатать. Закончив одну, я тотчас принимался за другую и редко приходил в уныние от редакторского отказа. Я старался убедить себя, что когда-нибудь мне повезет. И действительно, по временам, когда счастье мне улыбалось и я сочинял что-нибудь путное, мне платили пять крон за работу, которая отнимала полдня.

Я снова оторвался от окна, подошел к умывальнику и смочил водой колени своих лоснившихся брюк, чтобы они казались черными и стали как будто новее. Сделав это, я, по обыкновению, сунул в карман бумагу и карандаш и вышел за дверь. По лестнице я спустился тихонько, чтобы не привлечь внимания хозяйки; срок уплаты за квартиру истек несколько дней назад, а платить мне было нечем.

Пробило девять часов. Грохот экипажей и людские голоса витали в воздухе – то был стонущий утренний хор, раздававшийся под стук шагов пешеходов и шелканье извозчичьих кнутов. Это шумное движение тотчас оживило меня, и я стал чувствовать себя уверенней. Менее всего я собирался просто вот так гулять с утра на свежем воздухе. На что был моим легким воздух? Я чувствовал себя неодолимым, как исполин, мог опереться плечом в повозку и остановить ее. Мной овладело удивительное, чудесное чувство, какое-то светлое удовлетворение. Я смотрел на встречных, читал вывески на домах, ловил на лету взгляды, брошенные на меня из проносившихся мимо карет, замечал всякую мелочь, не упускал ни малейшей случайности, что попадалась мне на пути и сразу же исчезала.

Какой дивный денек, вот бы еще поесть хоть немного! Я проникся этим радостным утром, счастье переполняло меня, и я вдруг ни с того ни с сего принялся напевать. Возле мясной лавки стояла женщина с корзинкой и выбирала колбасу к обеду; когда я проходил мимо, она взглянула на меня. Из рта у нее торчал лишь один зуб. В последние дни я стал таким нервным и впечатлительным, что лицо этой женщины показалось мне отвратительным; длинный желтый зуб походил на мизинец, торчащий изо рта, а когда она подняла на меня глаза, взгляд ее еще был полон мыслей о колбасе. Мне сразу расхотелось есть, тошнота подкатила к горлу. Дойдя до рынка, я напился воды из-под крана; потом поднял голову и взглянул на колокольню храма Спасителя – часы показывали десять.

Я долго еще бродил по городу, ни о чем не думая, потом безо всякой надобности постоял на каком-то углу и свернул на боковую улицу, хотя у меня не было там никакого дела. Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей; воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто.

Минут десять впереди меня шел хромой старик. В одной руке он нес узел, и все тело его напрягалось от усилий ускорить шаг. Я слышал, как тяжело он дышал, и подумал, что мог бы понести его узел; однако я не попытался догнать его. Близ Гренсена я встретил Ханса Паули, он поклонился и быстро прошел мимо. Почему он так спешил? Ведь я и не думал выпрашивать у него крону, я даже хотел при первой возможности вернуть ему одеяло, которое взял у него несколько недель назад. Как только я мало-мальски выкарабкаюсь, никто не сможет сказать, что я не отдал одеяла; пожалуй, еще сегодня начну писать статью о роли преступлений в будущем, или о свободе воли, или вообще о чем-нибудь важном и получу за нее по меньшей мере десять крон... Я вдруг почувствовал потребность немедленно приняться за дело, потому что мысли переполняли меня; я решил отыскать подходящее местечко в парке и даже не помышлять об отдыхе, покуда статья не будет кончена.

Но старый калека все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце концов меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною.

Казалось, этому не будет конца; может быть, он шел как раз туда же, куда и я, а если так, он все время будет маячить у меня перед глазами. Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну, а потом он вскидывал свой узел повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого несчастного калеку и проникаюсь все большим и большим ожесточением против него; я чувствую, как он мало-помалу портит мое радостное настроение и вместе с тем как бы омрачает чистое, прекрасное утро своим уродством. Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собою весь тротуар. Когда мы поднялись на холм, я не пожелал больше терпеть это и остановился у витрины, дожидаясь, покуда он уйдет. Когда через несколько минут я двинулся дальше, этот человек снова оказался впереди меня, – он тоже останавливался. Не долго думая, я в три-четыре больших шага настиг его и хлопнул по плечу.

Он остановился как вкопанный. Мы пристально посмотрели друг на друга.

– Подайте, сколько можете, на молоко! – сказал он наконец и склонил голову набок.

Ну вот, в хорошенькое я попал положение! Я пошарил в карманах и сказал:

– Ах, на молоко... Гм!.. Но ведь в наше время деньги на улице не валяются, а я не знаю, крайняя ли у вас нужда.

– Я не ел со вчерашнего дня, как ушел из Драммена, – сказал он. – У меня нет ни эре, и я еще не нашел работы.

– Вы ремесленник?

– Да, я скорняк.

– Как?

– Скорняк. Впрочем, умею еще шить сапоги.

– Это меняет дело, – сказал я. – Погодите-ка здесь минутку, а я сбегаю за деньгами и дам вам несколько эре.

Я что было духу побежал на Пилестредет, где в одном из домов, на втором этаже, жил ростовщик; Впрочем, мне еще не приходилось у него бывать. Войдя в подворотню, я быстро снял жилет, свернул его и сунул под мышку; потом поднялся по лестнице и постучал в дверь. Войдя, я поклонился и бросил жилет на прилавок.

– Полторы кроны, – сказал ростовщик.

– Хорошо, благодарю вас, – отвечал я. – Не будь он для меня слишком узок, я, конечно, не расстался бы с ним.

Взяв деньги и квитанцию, я отправился назад. В сущности, это была великолепная мысль – заложить жилет; ведь у меня еще останутся деньги на плотный завтрак, а к вечеру будет готова моя статья о роли преступлений в будущем. Мне сразу стало казаться, что жизнь не так уж мрачна, и я поспешил к старику, чтобы избавиться от него.

– Пожалуйста! – сказал я ему. – Счастлив, что вы первым делом обратились ко мне.

Он взял деньги и начал меня разглядывать. Чего он на меня уставился? Мне показалось, что он особенно пристально глядит на мои колени, и его бесстыдство меня взбесило. Неужели этот бродяга думает, что, если я так одет, меня можно почитать за нищего? Ведь я уже почти начал писать статью за десять крон. И вообще будущее мне не страшно, на мою долю хватит. Что тут такого, если в этот ясный день я дал немного денег незнакомому человеку? Его взгляд мне не нравился, и я решил, прежде чем уйти, сделать ему внушение. Я пожал плечами и сказал:

– Любезный, у вас отвратительная привычка таращить глаза на колени человека, который дал вам целую крону.

Он прислонился к стене, закинул голову и разинул рот. В мозгах этого нищего шевелилась какая-то мысль, он, конечно, подумал, что я хочу как-нибудь над ним посмеяться, и протянул мне деньги обратно.

Я стал топтать ногами и требовать, чтобы он оставил деньги у себя. Уж не думает ли он, что я хлопотал по-пустому? В конце концов я попросту должен ему эту крону, я вспомнил этот старый долг, а он имеет дело с порядочным человеком, честным до мозга костей. Словом, это его деньги... Ах, не стоит благодарности, я очень рад. До свидания!

И я ушел. Наконец-то этот назойливый калека отвязался от меня, теперь мне никто не помешает. Я снова пошел на Пилестредет и остановился у продуктового магазина. Витрина была завалена съестными припасами, и я решил войти и прихватить чего-нибудь с собой.

– Кусок сыру и французскую булку! – сказал я и бросил на прилавок полкроны.

– Сыру и хлеба на все деньги? – насмешливо спросила продавщица, не глядя на меня.

– Да, на все пятьдесят эре, – невозмутимо ответил я.

Я получил покупку, почтительно поклонился старой толстой продавщице и быстро зашагал к холму, где был парк. Там я отыскал скамейку и с жадностью принялся за еду. Мне сразу полегчало; давно уже не было у меня столь обильной трапезы, и мало-помалу я успокоился, почувствовал облегчение, как бывает, когда выплачешь все слезы. Вскоре я совсем воспрянул духом; теперь мне уже мало было написать статью на такую простую и нехитрую тему, как роль преступлений в будущем, к тому же это всякий мог сам предугадать, стоило просто-напросто заглянуть в историю; я же чувствовал себя способным на гораздо большее свершение, мне хотелось преодолевать необычайные трудности, и я решил написать сочинение в трех частях о философском познании. Разумеется, я не премину разнести в пух и прах некоторые из Кантовских софизмов... Я хотел вынуть письменные принадлежности и приступить к работе, но тут обнаружилось, что у меня нет карандаша, я забыл его в лавочке у ростовщика – ведь карандаш лежал в кармане жилета.

Господи, до чего же мне все-таки не везет! Я выругался несколько раз, встал со скамейки и принялся ходить взад-вперед по дорожкам. Вокруг было тихо; в отдалении, подле королевской беседки, какие-то няньки катали младенцев в колясках, а больше нигде не было ни души. Я был очень расстроен и как безумный бегал вокруг скамейки. Со всех сторон на меня обрушивались беды! Мне нельзя написать философское сочинение в трех частях лишь потому, что в кармане у меня нет грошового карандаша! А что, если вернуться на Пилестредет и взять карандаш? Тогда я все-таки успею порядочно написать, прежде чем гуляющие хлынут в парк. Ведь от этого сочинения о философском познании зависело так много – как знать, быть может, счастье всего человеческого рода. И я полагал, что оно окажется весьма полезным многим молодым людям. Если поразмыслить хорошенько, то мне вовсе незачем нападать на Канта: этого легко избежать, стоит только чуть-чуть уклониться в сторону, когда речь пойдет о времени и пространстве; зато уж Ренана, этого старого священника, я не пощажу... Но так или иначе, нужно было написать определенное количество столбцов: за квартиру я не заплатил, хозяйка пристально смотрела на меня по утрам, когда я встречал ее на лестнице, и это мучило меня весь день, всплывало даже в самые радостные мгновения, когда ни одна черная дума не омрачала мою душу. Надо было положить этому конец. Я быстрым шагом покинул парк и отправился к ростовщику за своим карандашом.

Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю отчего, быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, – лишь от тайной мысли. Или же оттого, что я коснулся ее руки? Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней?

Я остановился и снова пропустил ее вперед, мне невозможно было идти дальше, все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с каран-

дашом, и еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход, я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал, – имя, скользкое и волнующее: Илаяли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско:

– Вы потеряете книгу, фрекен.

Говоря это, я слышал стук своего сердца.

– Книгу? – спрашивает она свою спутницу. И идет дальше.

Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его; волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало, и я корчил за спиной дамы преглупые рожи, а обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее, чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.

Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины, шагнул ей навстречу и повторил:

– Вы потеряете книгу, фрекен.

– Но какую книгу? – спрашивает она в испуге. – О какой он книге говорит?

И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною; у нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытается понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице ее одно выражение сменяется другим, я слышу, как тяжело она дышит; и даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза.

– Не обращай на него внимания, – говорит ее спутница и тянет ее за руку. – Ведь он же пьян! Разве ты не видишь, что этот человек пьян?

Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше в сторону Тиволи; на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже, оттуда высунулась служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания, я был в ясном уме и твердой памяти, все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они – сестры.

Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли тою же дорогою обратно, мимо меня, свернули на Университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше докучать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду.

У большого четырехэтажного дома под номером два они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх, на окна. И тут совершается чудо: там, наверху, колышутся занавески, потом окно отворяется, оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «Илаяли!» – шепчу я и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза; это длится с минуту; от окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью; я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движение ее плеча словно знак мне; всем своим существом я ощутил этот чудесный привет; и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.

Я не осмеливался оглянуться назад и не знал, подходила ли она еще раз к окну; раздумывая об этом, я все больше беспокоился и не находил себе места. Быть может, в этот самый миг она наблюдала за каждым моим движением, и мне было невыносимо знать, что за мной следят. Я держался как можно прямее и шел не останавливаясь; ноги подо мной дрожали, походка стала неверной, именно потому, что я хотел идти как можно красивее. Стараясь казаться спокойным и равнодушным, я нелепо размахивал руками, сплевывал и высоко задираю нос; но тщетно. Я все время чувствовал испытующий взгляд у себя за спиной, и по телу моему пробежал холодок. Наконец я скрылся в боковой улочке, откуда направился на Пилестредет, чтобы взять свой карандаш.

Мне не стоило ни малейшего труда получить его обратно. Ростовщик сам принес мне жилет и попросил меня тут же обшарить все карманы; я нашел еще несколько закладных квитанций, сунул их в карман и поблагодарил любезного хозяина за его предупредительность. Он нравился мне все больше и больше, и мне тут же захотелось произвести на него хорошее впечатление. Я сделал несколько шагов к выходу, но опять вернулся к прилавку, словно забыл что-то; мне казалось, что я обязан объяснить, сообщить ему подробности, и я стал тихонько напевать, чтобы привлечь его внимание. Потом я поднял карандаш, который держал в руке.

– Мне и в голову не пришло бы тащиться в такую даль за этим несчастным карандашом, – сказал я, – но тут дело другое, совсем особое дело. Хоть у этого огрызка карандаша и жалкий вид, благодаря ему я стал тем, что я есть, нашел, так сказать, свое место в жизни...

Я умолк. Хозяин подошел к самому прилавку.

– Вот как? – сказал он и с любопытством посмотрел на меня.

– Этим карандашом, – продолжал я невозмутимо, – написано мое трехтомное сочинение о философском познании. Неужели вы не слышали об этом?

И хозяину показалось, что он слышал имя, заглавие.

– Да, – сказал я, – это мое сочинение! Поэтому неудивительно, что я захотел получить назад этот огрызок карандаша: он имеет для меня слишком большую цену, он мне все равно что маленький друг. Я весьма благодарен вам за доброе отношение и не забуду этого; да, да, в самом деле, не забуду, честное слово, такой уж я человек, а вы этого вполне заслужили. До свиданья! – Я пошел к двери с таким видом, словно мог вершить людские судьбы. Ростовщик дважды вежливо поклонился мне вслед, а я еще раз обернулся и сказал: «До свиданья!»

На лестнице мне встретилась женщина с чемоданом. Ввиду моей важности она робко посторонилась передо мной, я же невольно стал шарить в кармане, чтобы дать ей что-нибудь: ничего не найдя, я понурил голову и прошел мимо. Немного погодя я услышал, как она стучится к ростовщику; на дверях у него была стальная решетка, и я тотчас узнал дребезжащий звук, когда ее коснулась человеческая рука.

Солнце светило с юга, было около полудня. Народу на улицах становилось все больше, наступало время гулянья, и толпы людей, раскланиваясь, с улыбками на лицах, словно волны

перекатывались по улице Карла-Юхана. Я весь съежился, сжался в комок и проскользнул мимо кучки знакомых, которые стояли неподалеку от университета и глазели на толпу. Потом я побрел на холм, в дворцовый парк, где предался глубоким раздумьям.

Как весело и легко все эти встречные вертят головами, как ясны их мысли, как свободно скользят они по жизни, словно по паркету бальной залы! Ни у кого из них я не прочел в глазах печали, их плечи не отягощает никакое бремя, в безмятежных душах, кажется, нет ни мрачных забот, ни тени тайного страдания. А я бродил среди этих людей, молодой, едва начавший жить и забывший уже, что такое счастье! Эта мысль не покидала меня, и я чувствовал, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Почему в последние месяцы мне живется так невыносимо тяжело? Мою неомраченную душу словно подменили, повсюду меня подстерегали горькие разочарования. Стоило мне присесть на скамейку или сделать хоть шаг, как на меня сразу обрушивались какие-то жалкие и ничтожные нелепости, они вторгались в мой внутренний мир, вынуждали понапрасну растрчивать силы. Собака, пробежавшая мимо, желтая роза в петлице у какого-нибудь господина могли пробудить во мне мысли и долгое время занимать меня. Что же со мной случилось? Неужто перст Божий коснулся меня? Но почему же меня? Почему не какого-нибудь другого человека, живущего хоть в Южной Америке, уж если на то пошло? Чем больше я думал, тем непостижимее и непостижимее представлялось мне, что именно я избран своенравным промыслом Божиим для его упражнений! И как странно, что во всем мире он отыскал именно меня; есть же книготорговец Паша и пароходный агент Хеннехен.

Я шел, размышляя об этом, и ничего не мог решить, я находил самые веские возражения против такого произвола со стороны Бога, заставляющего меня расплачиваться за грехи всех. Когда я отыскал свободную скамейку и сел, этот вопрос все еще занимал меня и мешал мне думать о другом. С того майского дня, когда начались мои злоключения, я чувствовал, как мною постепенно завладевает слабость, я стал слишком вялым, утратил волю и целенаправленность, словно стая каких-то мелких хищников вселилась в мое тело и грызла его изнутри. А что, если Бог попросту решил меня погубить? Я встал и принялся расхаживать подле скамейки.

В этот миг все мое существо было исполнено нестерпимейшего страдания; даже руки мучительно ныли, и я не знал, куда мне их девать. К тому же я недавно так плотно поел, что мне было не по себе, я объелся и, не находя себе места, топтался возле скамейки; люди скользили мимо меня, появлялись и исчезали как призраки. Наконец на мою скамейку сели двое мужчин, они закурили сигары и стали громко разговаривать; я рассердился и хотел сделать им замечание, но вместо того повернулся и пошел в другой конец парка, где отыскал пустую скамейку. Там я сел.

Мысль о Боге снова начала меня одолевать. Я находил, что с его стороны в высшей степени непростительно вмешиваться всякий раз, как я пытаюсь найти работу, и расстраивать все дело, хотя я просил лишь хлеба насущного. Я определенно заметил, что стоит мне поголодать несколько дней подряд, как мой мозг начинает словно бы вытекать и голова пустеет. Она становится легкой и бесплотной, я больше не чувствую ее у себя на плечах, и мне кажется, что, когда я на кого-нибудь гляжу, глаза мои раскрываются до невероятности широко.

Я сидел на скамейке и думал обо всем этом, все горше сетуя на Бога за эти беспрерывные мучения. Если он, испытывая меня и воздвигая на моем пути препятствие за препятствием, хочет приблизить меня к себе, очистить мою душу, то смею его заверить, что он ошибается. Я поднял глаза к небу, чуть не плача от негодования, и раз навсегда высказал ему все, чтобы облегчить душу.

Вспомнилось то, чему меня учили в детстве, в ушах зазвучал негромкий голос, читающий Библию, и я начал разговаривать сам с собою, насмешливо покачивая головой. Зачем заботился я о том, что мне есть и пить, во что одеть брэнную свою плоть? Разве Отец Небесный не питает меня, как питает птиц, и не оказал мне особой милости, избрав раба своего? Перст

Божий коснулся нервов моих и потихоньку, едва заметно, тронул их нити. А потом Господь вынул перст свой, и вот на нем обрывки нитей и комочки моих нервов. И осталась зияющая дыра от перста его, перста Божия, и рана в моем мозгу. Но, коснувшись меня перстом десницы своей, Господь покинул меня и не трогал более, и не было мне никакого зла. Он отпустил меня с миром, отпустил с открытой раной. И не было мне никакого зла от Бога, ибо Он – Господь наш во веки веков...

Ветер донес до меня музыку и пение студентов, – значит, был уже третий час. Я достал карандаш и бумагу, хотел написать что-нибудь, и вдруг из кармана у меня выпала книжечка с талонами на бритве. Я сосчитал талоны: их оставалось шесть.

– Слава Богу! – невольно воскликнул я. – Еще неделю-другую я могу бриться у цирюльника и иметь приличный вид!

Это маленькое достояние тотчас заставило меня воспрянуть духом; я тщательно разглядел талоны и спрятал книжку в карман.

Но писать я не мог. Сочинил несколько строк, а больше ничего не приходило в голову; мысли мои были где-то далеко, и я не мог сосредоточиться. Все меня рассеивало и отвлекало, со всех сторон подступали новые впечатления. Комары и мошки садились на бумагу и мешали мне; я дул на них, чтобы прогнать, дул во всю мочь, но напрасно. Эта мелюзга переворачивалась, жалась к бумаге, упиралась так, что тонкие лапки гнулись. Просто невозможно от них избавиться. Они всегда найдут, за что зацепиться, отыскивают шероховатости и неровности на бумаге и сидят до тех пор, покуда им самим не вздумается улететь.

Некоторое время эти маленькие кровососы занимали меня, я закинул ногу на ногу и довольно долго наблюдал их. А потом до меня донеслись звуки кларнета, и от этого мысли мои приняли новое направление. Досадуя, что я не могу написать статью, я сунул бумагу в карман и откинулся на спинку скамейки. В такие мгновения моя голова до того ясна, что меня посещают самые изощренные мысли, и при этом я нисколько не устаю. Я сижу, откинувшись назад, поглядываю на свою грудь, на ноги и вижу, как подрагивает моя нога от толчков крови. Я приподнимаю голову и все смотрю, и меня охватывает какое-то странное, небывалое ощущение; по нервам моим пробегает дивная волна, и словно трепетный свет вдруг вспыхивает во мне. Я гляжу на свои башмаки и как будто встречаюсь со старым другом, как будто какая-то частица моего существа вновь возвращается ко мне; чувство единения захлестывает мне душу, глаза наполняются слезами, и мои башмаки словно отдаются во мне тихим звоном. «Это слабость! – строго говорю я себе и, сжав кулаки, повторяю: – Слабость». И я принялся смеяться над этими нелепыми чувствами, я нарочно издевался над собой; я произносил твердые и здоровые слова, крепко жмурился, чтобы прогнать слезы. И словно я никогда не видел своих башмаков, я начинаю присматриваться, как они выглядят, как меняются при всяком движении моей ноги и какая у них форма, как потерлась кожа, и обнаруживаю, что морщины и белесые швы придают им своеобразное выражение, что у них как бы есть лицо. Некая частица моего существа перешла в эти башмаки, от них на меня веяло чем-то близким, словно то было собственное мое дыхание...

Я долго предавался этим ощущениям, – наверно, не меньше часа. А потом на другой конец скамейки присел маленький старичок; садясь, он тяжело вздохнул и сказал:

– М-да-а-а, вот так-то!

Едва я услышал его голос, в голове у меня словно поднялся вихрь, я оставил башмаки в покое, и мне даже показалось, что смутное настроение, которое я только что пережил, было чем-то давним, с тех пор, пожалуй, прошел год или два, а теперь оно мало-помалу изглаживается из моей памяти. Я смотрел на старика. Какое мне было дело до этого маленького человечка? Ровным счетом никакого! Меня занимало лишь то, что в руке он держал газету, старый номер со страницей объявлений, и в нее, по-видимому, было что-то завернуто. Мной овладело любопытство, и я не мог оторвать глаз от газеты; мне пришла безумная мысль, что это замеча-

тельная газета, единственная в своем роде; мое любопытство возрастало, и я начал ерзать на скамейке. Там могли быть документы, опасные бумаги, выкраденные из какого-нибудь архива. И я стал думать о тайном замысле, о заговоре.

Старичок сидел тихонько и о чем-то размышлял. Почему он не держит газету, как все, а вывернул ее? Что это за козни? Он, по-видимому, не хотел ни за что на свете выпустить этот сверток из рук. Он, пожалуй, не смел даже положить его себе в карман. Я готов был дать голову на отсечение, что это был не простой сверток.

Я смотрел вдаль. Уже одно то, что не было ни малейшей возможности проникнуть в эту тайну, разжигало во мне любопытство. Я шарил в карманах, хотел предложить что-нибудь этому человеку, вступить с ним в разговор, нащупал книжечку с талонами, вынул и тут же снова спрятал ее. Вдруг я осмелел, похлопал себя по пустому боковому карману и сказал:

– Не угодно ли сигарету?

Спасибо, он не курит, – пришлось бросить из-за болезни глаз, он почти ослеп. Впрочем, большое спасибо!

– А давно ли у вас больны глаза? Наверное, вам совсем нельзя читать? Даже газет?

– Да, к сожалению, даже газет!

Он повернулся ко мне. Глаза его закрывали бельма, отчего они казались остекленелыми; у него был белый взгляд, неприятный до отвращения.

– Вы нездешний? – спросил он.

– Да... Но неужели вы не можете прочесть даже название газеты, что у вас в руках?

– С трудом... А я сразу понял, что вы нездешний: догадался по выговору. Это так просто, ведь у меня очень тонкий слух. По ночам, когда все спят, я слышу дыхание в соседней комнате... Но я вот что хотел спросить: вы где живете?

Ложь тотчас же возникла у меня в голове. Я солгал невольно, сказал без умысла и задней мысли:

– На площади Святого Улафа, дом два.

– Правда? А ведь я знаю на площади Святого Улафа каждый камень. Там есть фонтан, несколько фонарей, деревья, я все помню... Какой, вы сказали, номер?

Я решил положить этому конец, измученный навязчивой мыслью о газете, и встал. Тайна непременно должна была объясниться.

– Раз вам нельзя читать газеты, зачем же...

– Вы, кажется, сказали, что живете во втором номере? – продолжал он, не замечая моего волнения. – В свое время я знал всех жильцов в этом доме. Как зовут вашего хозяина?

Чтобы покончить с ним, я сказал первую попавшуюся фамилию, выдумал ее тут же, на месте, чтобы отвязаться.

– Хапполати, – сказал я.

– Да, Хапполати. – Он без запинки повторил эту трудную фамилию и кивнул.

Я с изумлением смотрел на него; он сидел с очень серьезным видом, и лицо у него было задумчивое. Не успел я произнести глупую фамилию, которая взбрела мне на ум, как человек освоился с нею и сделал вид, что слышал ее раньше. Тем временем он положил свой сверток на скамейку, и я чувствовал, как волна любопытства захлестывает меня. Я заметил, что на газете были два жирных пятна.

– А ваш хозяин не моряк? – спросил старичок, и в голосе его не было и тени насмешки. – Мне помнится, он моряк!

– Моряк? Виноват, должно быть, вы знаете его брата, а этот – агент, Ю.-А. Хапполати.

Я думал этим его сразить; но он охотно верил всему.

– Я слышал, он дельный человек, – продолжал свои расспросы старик.

– Да, смысленый малый, отличный делец, – ответил я, – агент по продаже всякой всячины: брусника из Китая, перо и пух из России, кожа, древесина, чернила...

– Хе-хе, черт его побери! – с живостью прервал меня старик.

Это становилось забавным. Я увлекся и измышлял одну ложь за другой. Я снова сел, позабыл про газету, про таинственные бумаги, начал горячиться и перебивать собеседника. Доверчивость этого карлика пробудила во мне какую-то дурацкую наглость, хотелось немилосердно утопить его во лжи, сломить его сопротивление.

– А не приходилось ли вам слышать об электрическом молитвеннике, который изобрел Хапполати?

– Электри... как вы сказали?

– О молитвеннике с электрическими буквами, которые светятся в темноте! Это огромное дело с капиталом во много миллионов крон, работают словолитни и печатни, сотни механиков на большом жалованье, – семьсот человек, как я слышал.

– А я что говорил! – тихо сказал старик.

И умолк; он верил каждому моему слову не задумываясь. Это несколько разочаровало меня, я надеялся, что мои рассказы приведут его в бешенство.

Я сплел еще две отчаянные байки, вошел в азарт и шепнул, что Хапполати целых девять лет был министром в Персии.

– Вы, пожалуй, и представить себе не можете, что это значит – быть министром в Персии? – спросил я. – Там министр важнее, чем у нас король, это почти все равно что султан, если вы знаете, кто это такой. Но Хапполати был на высоте и ни разу не оплошал.

И я рассказал об Илаяли, его дочери, фее, принцессе, которая имела триста рабынь и почивала на ложе из желтых роз; она была прекраснейшее существо, какое я видел, – покарай меня Бог, – равной ей я не встречал в жизни!

– Стало быть, она была так красива? – рассеянно спросил старик, потупив глаза.

– Красива? Да она прекрасна, соблазнительно нежна! Глаза как бархат, руки словно янтарь! Один взгляд ее искушал, как поцелуй, и когда она звала меня, ее голос, как струя вина, пьянил мою душу. Да и почему бы ей не быть столь прекрасной? Разве, по-вашему, она какая-нибудь конторщица или служащая из пожарного ведомства? Да она, скажу я вам, небесное существо, она подобна сказке.

– Да, конечно, – сказал он почти равнодушно.

Его спокойствие наскучило мне; я был опьянен собственным голосом и говорил совершенно серьезно. Я не думал больше о похищенных бумагах, о заговоре в пользу какого-нибудь иностранного государства; маленький, тощий сверток лежал между нами на скамейке, но у меня уже не было никакого желания заглянуть в него и узнать, что в нем содержится. Я был поглощен собственными рассказами, перед глазами у меня проносились изумительные образы, кровь бросилась мне в голову, и я вдохновенно лгал.

А старик как будто собрался уходить. Он привстал и, чтобы не сразу прервать разговор, спросил:

– Должно быть, у этого Хапполати огромное состояние?

Как мог этот слепой, отвратительный старик распоряжаться чужой фамилией, которую я выдумал, так, словно ее можно было прочесть на любой вывеске в городе?

Он ни разу не запнулся, не пропустил ни одного звука; фамилия запечатлелась в его памяти и прочно укоренилась там. Я досадовал и сердился на этого человека, которого ничто не могло смутить или обескуражить.

– Не знаю, – ответил я вдруг. – Положительно не знаю. Но да будет вам известно, что зовут его Юхан Арндт Хапполати, если судить по инициалам.

– Юхан Арндт Хапполати, – повторил старик, несколько озадаченный моей горячностью. И умолк.

– Вы бы посмотрели на его жену, – продолжал я вне себя. – Это такая толстуха... Вы, может быть, не верите, что она толста?

Нет, этого он, конечно, не мог отрицать; у такого господина вполне могла быть толстая жена...

На каждую мою выходку старик отвечал кротко и тихо, взвешивал слова, точно боялся сказать лишнее и рассердить меня.

– Что за черт, вы, верно, думаете, что я морочу вам голову? – вскричал я вне себя. – Вы, верно, думаете, что господина по фамилии Хапполати и на свете нет? Первый раз в жизни вижу такого упрямого и противного старика! Какая муха вас укусила? Вы еще, чего доброго, приняли меня за нищего, который надел праздничное платье, а у самого даже сигаретки нет? Я не привык к такому обращению, смею вас заверить, и, ей же богу, ни от кого этого не стерплю, так и знайте!

Старик тем временем встал. Он стоял, разинув рот, и молча слушал мою тираду, потом схватил свой сверток со скамейки и пошел, почти побежал по дорожке мелким старческим шагом.

А я все сидел и смотрел, как он удаляется и спина его горбится все сильнее. Не знаю, откуда взялось это впечатление, но мне показалось, что я никогда еще не видел такой постыдной, такой ничтожной спины, и мне было ничуть не совестно, что я обругал его напоследок...

Уже вечерело, солнце садилось, тихонько шелестела листва деревьев, и няньки, сидевшие у загородки, за которой выступали канатоходцы, собирались везти своих младенцев домой. Я был спокоен и невозмутим. Мое недавнее волнение мало-помалу улеглось, я ослабел, почувствовал вялость, мне захотелось спать; и хотя в тот день я съел слишком много хлеба, последствия этого уже почти не чувствовались. В наилучшем расположении духа я откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза; спать хотелось все сильнее, я клевал носом и совсем уж было уснул, но тут сторож положил мне руку на плечо и сказал:

– Здесь спать нельзя.

– Да, конечно, – сказал я и тотчас же поднялся.

И тут же положение мое вновь представилось мне совершенно безнадежным. Нужно было что-то сделать, что-то придумать! Мне не удалось найти места; рекомендации, которые я представлял, были давнишние, и под ними стояли подписи никому не известных людей, так что на них надеяться не приходилось; к тому же я столько раз за это лето получал отказы, что потерял всякую уверенность в себе. Но как бы то ни было, я не уплатил в срок за квартиру, и эти деньги должен был где-то добыть. Остальное могло пока оставаться по-прежнему.

Машинально я снова взял в руки карандаш и бумагу, сел и написал в каждом углу листа: «1848». Если б хоть одна вдохновенная мысль овладела мною и подсказала мне слова! Ведь бывали же раньше, да, бывали такие минуты, когда я безо всякого труда мог сочинить длинную и блестящую статью.

Я сижу на скамейке и все вывожу на бумаге: «1848», я пишу это число вдоль и поперек, на тысячу разных ладов, и жду, не осенит ли меня спасительное вдохновение. Какие-то отрывочные мысли роятся в голове, гаснущий день навевает уныние и грусть. Осень уже пришла и начинала сковывать все сном, мухи и насекомые ощутили на себе ее дыхание, в листве деревьев и на земле слышен шорох – это не хочет покориться жизнь, она беспокойна, шумна, неутомонна, она не щадит сил в своей борьбе против умирания. Все ползучие твари снова высовывают желтые головы из мха, шевелят конечностями, ощупывают землю длинными усиками, а потом вдруг падают, опрокидываются кверху лапками. Всякая былинка принимает особенный, неповторимый оттенок под дыханием первых холодов; бледные стебельки тянутся к солнцу, опавшие листья шуршат на земле, словно шелковичные черви. Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив.

Я сам чувствовал себя словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира. Охваченный непостижимым страхом, я вскочил и большими шагами забегал по дорожке. «Нет! – крикнул я и стиснул кулаки. – Так продолжаться не может!» И снова сел, взялся за

карандаш, решившись во что бы то ни стало написать статью. Я не имел права опускать руки – счет за квартиру маячил у меня перед глазами.

Медленно, очень медленно, мысли мои приходили в порядок. Я сосредоточился и не спеша, взвешивая каждое слово, написал две вводные страницы; они могли стать введением к чему угодно – к путевым заметкам или к политическому обзору, как мне заблагорассудится. Это было превосходное начало и к тому и к другому.

Потом я начал искать подходящее содержание – кого-нибудь или что-нибудь такое, о чем стоило бы написать, и ничего не мог найти. От этого бесполезного усилия мои мысли снова начали путаться, я почувствовал, как мозг отказывается работать, голова все пустеет, пустеет, и вот я снова совсем не чувствую ее на плечах. Эту зияющую пустоту в голове я ощущаю всем своим существом, мне кажется, что весь я пуст с головы до ног.

– Господи, Боже ты мой! – воскликнул я в отчаянье, а потом повторил этот возглас еще и еще, не в силах больше вымолвить ни слова.

Ветер шумел в листве, надвигалось ненастье. Я посидел еще немного, задумчиво глядя на бумагу, потом сложил ее и не спеша спрятал в карман. Стало холодно, а у меня теперь не было жилета; я застегнул куртку до самого верха и сунул руки в карманы. Потом встал и пошел.

Хоть бы в этот раз мне посчастливилось, в этот единственный раз! Хозяйка уже дважды смотрела на меня, безмолвно требуя денег, а я вынужден был, смущенно поклонившись, прощмыгнуть мимо. Больше я так не могу; когда она снова бросит на меня такой взгляд, я честно признаюсь во всем и откажусь от квартиры, ведь все равно дальше так нельзя.

Дойдя до выхода из парка, я снова увидел старичка, который убежал, испуганный моей яростью. Таинственный сверток был развернут и лежал подле него на скамейке, – там оказалась всякая снедь, и он закусывал. Я хотел подойти к нему и извиниться за свое поведение, но не мог – так отвратительно он ел; морщинистые старческие пальцы, словно десять отвратительных когтей, впивались в жирные бутерброды, я почувствовал, что меня тошнит, и молча прошел мимо. Он не узнал меня, его глаза скользнули по мне, и ни один мускул в лице не дрогнул.

Я пошел дальше.

По своему обыкновению, я останавливался перед каждой вывешенной газетой, читал объявления о найме на работу и, когда нашел одно подходящее место, очень обрадовался: торговец на Грэнланслерет ищет счетовода для двухчасовой вечерней работы; плата по соглашению. Я записал адрес и про себя возблагодарил Бога; я соглашусь на самую ничтожную плату, мне хватит и пятидесяти эре, хватит даже сорока; я пойду на какие угодно условия.

Когда я вернулся домой, на моем столе лежала записка от хозяйки, в которой она требовала либо уплатить за комнату вперед, либо освободить ее как можно скорее. Она просила не сердиться, – ей нельзя иначе. С совершенным почтением мадам Гуннерсен.

Я написал письмо торговцу Кристи, Грэнланслерет, 31, положил его в конверт и бросил в ящик на углу. Потом я снова поднялся к себе, сел в качалку и задумался, а сумерки меж тем все сгущались. Тяжелая усталость одолевала меня.

* * *

Наутро я проснулся рано. Когда я открыл глаза, было еще совсем темно, и лишь через некоторое время я услышал, как внизу пробило пять. Я хотел уснуть снова, но сон не приходил, я не мог даже задремать, тысячи мыслей лезли в голову.

Вдруг мне пришло на ум несколько хороших фраз, годных для очерка или фельетона, – прекрасная словесная находка, какой мне еще никогда не удавалось сделать. Я лежу, повторяю эти слова про себя и нахожу, что они превосходны. Вскоре за ними следуют другие, я вдруг совершенно просыпаюсь, встаю, хватаю бумагу и карандаш со стола, который стоит в ногах моей кровати. Во мне как будто родник забил, одно слово влечет за собой другое, они связно

ложатся на бумагу, возникает сюжет; сменяются эпизоды, в голове у меня мелькают реплики и события, я чувствую себя совершенно счастливым. Как одержимый исписываю я страницу за страницей, не отрывая карандаша от бумаги. Мысли приходят так быстро, обрушиваются на меня с такой щедростью, что я упускаю множество подробностей, которые не успеваю записать, хотя стараюсь изо всех сил. Я полон всем этим, весь захвачен темой, и всякое слово, написанное мною, словно изливается само по себе.

Это изумительное состояние длится, длится бесконечно долго; и когда я наконец прерываюсь и откладываю карандаш, на моих коленях лежат пятнадцать, а то и все двадцать исписанных страниц. Если только эти листки действительно чего-нибудь стоят, я спасен! Я вскакиваю с постели и одеваюсь. Все больше и больше светает, уже почти можно прочесть объявление смотрителя маяка у двери, а подле окна уже так светло, что писать – одно удовольствие. И я тотчас принимаюсь переписывать бумаги набело.

Мои фантазии облечены удивительной, плотной дымкой, сотканной из света и красок; я едва успеваю удивляться своим удачам и говорю себе, что лучше этого еще ничего не читал. Счастье пьянит меня, радость пылает в моей душе, я торжествую победу; взвесив пачку листов на руке, я тут же оцениваю их в пять крон, по самому примерному подсчету. Ведь о пяти кронах никто не станет торговаться, напротив, можно смело сказать, что, учитывая содержание моей рукописи, даже десять крон – ничтожная цена. Я не собирался делать столь исключительную работу даром; сколько мне известно, такие романы не валяются на дороге. И я решил просить десять крон.

В комнате становилось все светлее, я взглянул в сторону двери и без особенного труда прочел тонкие, похожие на скелеты буквы, возвещающие, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван»; к тому же часы внизу уже довольно давно пробили семь.

Я отошел от окна и остановился посреди комнаты. Если все хорошенько взвесить, мадам Гуннерсен весьма кстати отказала мне. Эта комната вовсе не для меня; здесь такие простенькие зеленые занавески на окнах, а в стены вбито так мало гвоздей и некуда вешать одежду. Качалка в углу, по сути дела, лишь пародия, жалкое подобие качалки, смех, да и только. Кроме того, она слишком низка для взрослого и до такой степени узка, что из нее приходится самого себя вытаскивать, словно ногу из тесного сапога. Одним словом, эта комната не для умственной работы, и я не хотел здесь оставаться. Ни в коем случае не хотел! Слишком долго я молчал, терпел и томился в этой каморке.

Окрыленный надеждой и радостью, все еще полный мыслей о замечательном сочинении, которое я то и дело вытаскивал из кармана и перечитывал, я решил, не теряя времени, собирать вещи. Я достал узелок – пару чистых воротничков, завернутых в красный носовой платок, и скомканную газетную бумагу, в которой я приносил домой хлеб, скатал свое одеяло, прихватил весь свой запас писчей бумаги. Потом я предусмотрительно обшарил все углы, чтобы убедиться, не забыл ли я чего-нибудь, и, не найдя ничего, выглянул в окно. Утро выдалось пасмурное и сырое; у сгоревшей кузницы не было ни души, а отсыревшая веревка на дворе туго натянулась от стены к стене. Все это я видел и раньше, поэтому я отошел от окна, взял одеяло под мышку, поклонился объявлению смотрителя маяка, а также савану йомфру Андерсен, и отворил дверь.

Тут я вспомнил про хозяйку; ведь нужно было уведомить ее об отъезде, пусть знает, что имела дело с порядочным человеком. Кроме того, мне хотелось поблагодарить ее в записке за те несколько дней, что я пользовался комнатой сверх срока. Сознание, что теперь я на некоторое время обеспечен, было так сильно, что я даже пообещал хозяйке в ближайшие дни занести пять крон; мне хотелось подчеркнуть, какой благородный человек жил под ее кровом.

Записку я оставил на столе.

У двери я снова остановился и обернулся назад. Светлое чувство возвращения к жизни возродило меня, я был благодарен Богу и всему миру, я опустился на колени у кровати и громко возблагодарил Творца за великую милость, которую он ниспослал мне в это утро. Я знал, да, знал, что этот порыв вдохновения, который я только что пережил и перенес на бумагу, был чудом, свершившимся в моей душе по воле неба, откликом на мой вчерашний крик о помощи. «Там Господь! Там Господь!» – восклицал я и плакал, радостно умиленный собственными словами; по временам мне приходилось умолкать и прислушиваться, не идет ли кто наверх. Наконец я встал, неслышно спустился с длинной лестницы и, никем не замеченный, добрался до парадной двери.

Мостовые блестели от дождя, выпавшего ранним утром, над городом нависло тяжелое и низкое небо, солнце не проглядывало сквозь тучи. Который был час? По своему обыкновению, я пошел к ратуше и увидел, что на часах половина девятого. Значит, мне предстояло бродить добрых два часа, ведь не имело смысла являться в редакцию до десяти или даже до одиннадцати, а куда приходилось шататься по улицам и на досуге придумывать, как раздобыть чего-нибудь на завтрак. Впрочем, я не боялся в тот вечер остаться без ужина; те времена, славу Богу, миновали! Это уже пережито, кончилось, как дурной сон; теперь мои дела пошли в гору!

Под мышкой у меня было зеленое одеяло, и от этого я чувствовал себя неловко: просто неммыслимо носить такой сверток на виду у всех. Что подумают люди? Я стал подыскивать местечко, где можно было бы оставить его на время. Вдруг мне пришло в голову, что я могу зайти к Сеубу и попросить завернуть одеяло в бумагу; мой сверток тотчас примет приличный вид, и мне нечего будет стыдиться. Я зашел в магазин и обратился со своей просьбой к одному из приказчиков.

Он взглянул сперва на одеяло, потом на меня; мне показалось, что он презрительно пожал плечами, принимая сверток. Это меня задело.

– Осторожней, черт побери! – воскликнул я. – Тут завернуты две драгоценные вазы. Эта посылка будет отправлена в Смирну.

Моя уловка удалась как нельзя лучше. Теперь у приказчика был виноватый вид, он словно молил простить его за то, что он не сразу сообразил, какой это ценный сверток. Когда он закончил свое дело, я поблагодарил его с таким видом, словно уже не раз отсылал в Смирну всякие драгоценности; приказчик даже проводил меня до порога и распахнул передо мной дверь.

Я отправился на рыночную площадь и стал бродить в толпе, стараясь держаться поближе к женщинам, которые продавали цветы в горшках. Тяжелые красные розы, влажно алевшие в сыром утреннем воздухе, дразнили меня, вызывали искушение сорвать один цветок, и я спрашивал о цене, пользуясь предлогом подойти поближе. Будь у меня деньги, я купил бы розу не задумываясь; чтобы возместить такую трату, я мог бы в чем-нибудь урезать себя.

Десять часов, иду в редакцию. Человек с ножницами роется в куче старых газет, редактор еще не приходил. Он предлагает мне оставить мою пухлую рукопись, а я даю ему понять, что это не простая рукопись, и убедительно прошу передать ее в собственные руки редактора. Позднее я сам зайду за ответом.

– Ладно! – сказал Человек-Ножницы и снова принялся за свои газеты.

Мне показалось, что он отнесся к делу слишком спокойно, но я промолчал, с притворным равнодушием кивнул ему и ушел.

Теперь у меня было много свободного времени. Хоть бы небо прояснилось! Погода омерзительная – ни ветра, ни мороза; дамы предусмотрительно раскрыли зонтики, а шляпы на головах у мужчин имеют смешной и печальный вид. Я снова иду на рынок, рассматриваю зелень и розы. Вдруг кто-то кладет мне руку на плечо, и я оборачиваюсь – это «Красная девица» желает мне доброго утра.

– Доброе утро? – повторил я полувопросительно, желая поскорей от него отвязаться. Я недолюбливал «Красную девицу».

Он с любопытством смотрит на большой, аккуратный сверток у меня под мышкой и спрашивает:

– Что это у вас?

– Я был у Семба и купил кое-что на платье, – безразличным тоном отвечаю я. – Мне надоело ходить в такой поношенной одежде. Нельзя же без конца пренебрегать своей внешностью.

Он смотрит на меня с изумлением.

– Ну а вообще как дела? – спрашивает он, помолчав.

– Лучшего и желать нельзя!

– Нашли себе какое-нибудь занятие?

– Занятие? – повторяю я с нарочитым удивлением. – Да будет вам известно, что я служу бухгалтером в оптовой фирме Кристи.

– Вот как! – говорит он, попятившись. – Ах ты Господи, до чего же я рад за вас. Смотрите же не раздавайте денег всяким попрошайкам. Всего доброго.

Отойдя немного, он снова возвращается, указывает палкой на мой сверток и говорит:

– Позвольте рекомендовать вам моего портного. Более элегантного портного, чем Исаксен, вам не сыскать. Скажите, что вы от меня.

И зачем ему понадобилось совать нос в мои дела? Что ему до того, к какому портному я пойду? Я рассердился; этот пустой расфранченный человек раздражал меня, и я довольно грубо напомнил ему о десяти кронах, которые он как-то у меня занял. Но не успел он ответить, как я раскаялся, что потребовал у него долг, смутился и опустил глаза; в это время мимо нас проходила дама, я отступил, чтобы пропустить ее, и воспользовался случаем уйти.

Куда мне деваться, где ждать? Идти в кофейню с пустым карманом я не мог, и к знакомым в это время дня нельзя было зайти. Я бесцельно побрел по городу, между рынком и Гренсенем, прочитал «Вечерние новости», только что вывешенные на доске, прошелся по улице Карла-Юхана, потом повернул и направился к храму Спасителя, где нашел спокойное местечко на кладбище, подле часовни.

Воздух здесь был влажный, я сидел в тишине, думал, задремывал и зяб. Время шло. Можно ли быть уверенным, что мой фельетон – это хоть и маленький, но вдохновенный шедевр? Бог знает, нет ли в нем ошибок! Если подумать хорошенько, его ведь могут вовсе не принять, просто-напросто же принять! Пожалуй, он попросту посредственный, а то и безнадежно плохой, кто мне поручится, что его уже не швырнули в корзину для бумаги?.. Мое душевное спокойствие было нарушено, я вскочил и бросился прочь с кладбища.

На Акерсгатен я заглянул через витрину в лавку и увидел, что на часах только начало первого. Это меня вконец расстроило, ведь я был уверен, что уже далеко за полдень, а идти к редактору раньше четырех было бесполезно. Меня одолевали мрачные предчувствия относительно судьбы моего фельетона; чем больше я думал об этом, тем мне представлялось невероятнее, что я мог написать нечто сносное в таком порыве, почти во сне, когда мой мозг лихорадило и мысли блуждали. То был, конечно, просто самообман, и все утро я радовался зря! Еще бы!.. Я быстро шел по Уллевольсвейен, мимо холма Святого Генриха, миновал пустыри, зашагал по узким странным улицам, прилегающим к лесопилке, мимостроек и огородов и очутился наконец на большой дороге, которой не видно было конца.

Здесь я остановился и решил повернуть назад. Ходьба согрела меня, и назад я шел медленно, повесив нос. Мне встретились два воза с сеном. Возчики лежали навзничь на сене и пели, оба босые, с круглыми, беспечными лицами. Идя им навстречу, я думал, что они заговорят со мной, отпустят какое-нибудь замечание или начнут смеяться, и, когда я подошел к ним довольно близко, один из них громко осведомился, что у меня под мышкой.

– Одеяло, – ответил я.

– Который час? – спросил он.

– Точно не знаю, наверно, около трех.

Тогда оба засмеялись и поехали дальше. Но вдруг меня ожгла боль от удара кнутом по уху, и шляпа слетела с головы; эти парни не могли удержаться, чтобы не подшутить надо мною. Возмущенный, я схватился за ухо, подобрал шляпу на краю канавы и пошел прочь. У холма Святого Генриха я спросил у встречного, сколько времени, и он ответил, что уже пятый час.

Пятый час! Уже пятый час! Я прибавил шагу, почти бегом поспешил в редакцию. Редактор, пожалуй, давно там, а может быть, даже уже ушел! Я то брел медленно, то бежал, едва не попадая под колеса, обгонял прохожих, мчался взапуски с лошадьми, выбивался из сил как безумный, только бы успеть вовремя. Вбежав в здание, я несколькими прыжками одолел лестницу и постучал в дверь.

Ответа не было.

«Он ушел! Ушел!» – думаю я. Я дергаю дверь, она не заперта, стучу еще раз и вхожу.

Редактор сидит за столом, лицом к окну, в руке у него перо, он что-то пишет. Я здороваюсь, с трудом переводя дух, он оборачивается, глядит на меня и качает головой.

– У меня еще не было времени просмотреть ваш очерк.

Я рад, что он по крайней мере пока не отверг мою работу, и говорю:

– Ну конечно, я же понимаю. Да это и не к спеху. Может быть, зайти дня через два или...

– Да, да, я погляжу. Впрочем, у меня ведь есть ваш адрес.

И тут я забыл сказать, что у меня больше нет никакого адреса.

Аудиенция кончилась, я с поклонами отступаю назад и ухожу. Душа моя снова полна надежды: еще ничего не потеряно, напротив, я еще могу многого добиться, если уж на то пошло. И в голове у меня рождаются всякие фантазии, мне мнится, что у престола Всевышнего решено вознаградить меня за мой фельетон десятью кронами...

Только бы мне найти какое-нибудь пристанище на ночь! Я раздумываю, где мне лучше всего заночевать; этот вопрос так занимает меня, что я останавливаюсь посреди улицы. Я забываю, где я, стою, как одинокий бакен в море, а вокруг плещут и бушуют волны. Газетчик протягивает мне «Викинга». Любопытно, очень любопытно! Я поднимаю голову и вздрагиваю – передо мной снова магазин Семба.

Я быстро поворачиваюсь, стараюсь скрыть сверток и, растерянный, спешу к церкви, боясь, как бы меня не увидели из окон. Я минуя Ингебрет, прохожу мимо театра, у Логена сворачиваю и направляюсь в сторону набережной, к форту. Отыскав свободную скамейку, я снова погружаюсь в размышления.

Где мне найти пристанище на ночь? Нет ли какой-нибудь дыры, где я мог бы укрыться до утра? Гордость не позволяла мне вернуться назад, в прежнюю свою комнату; я и мысли не допускал о том, чтобы отказаться от своих слов, я с негодованием отмахнулся от этого и лишь смущенно улыбнулся, представив себе маленькую красную качалку. Волею воображения я вдруг очутился в большой, с двумя окнами, комнате на Хегдехауген, где когда-то жил: на столе я увидел поднос со множеством бутербродов внушительного вида, а потом он превратился в бифштекс – соблазнительный бифштекс, рядом появилась белоснежная салфетка, груды хлеба, серебряная вилка. И отворилась дверь: вошла моя хозяйка, она предложила мне еще чашечку чаю...

Пустые видения и сны! Я стал внушать себе, что, если б я теперь добыл еды, голова моя снова пришла бы в расстройство, мне пришлось бы бороться с тою же самой лихорадкой в мыслях, с наплывом безумных фантазий. Таков уж я был, еда приносила мне вред; это была моя странность, мое особенное свойство.

Может статься, я еще найду себе пристанище попозже, перед вечером. Спешить некуда: на худой конец, отыщу местечко где-нибудь в лесу, все городские окрестности к моим услугам, и мороза нет.

А море замерло в тяжелой неподвижности, корабли и неуклюжие, тупоносые буксиры бороздили его свинцовую гладь, вспенивали воду с обоих бортов,плыли все вперед, дым,

словно пух, летел из труб, стучали машины, сотрясая глухими ударами промозглый воздух. Небо застилало тучи, было безветренно, деревья у меня за спиной казались мокрыми, а скамейка подо мной была сырая и холодная. Время шло; я начал задремывать, появилась усталость, холодок пробежал по спине; вскоре я почувствовал, что глаза у меня совсем слипаются. И я смежил веки...

Когда я проснулся, было уже темно; одурелый спросонья и озябший, я вскочил, схватил свой сверток и пошел прочь. Я шел все быстрее и быстрее, чтобы согреться, махал руками, потирал ноги, которые у меня словно отнялись, и очутился у пожарной каланчи. Было девять; я проспал несколько часов.

Куда же мне деваться? Нужно найти место для ночлега. Я стою, гляжу на пожарное депо и соображаю, не удастся ли проскользнуть в какую-нибудь дверь, выждав, когда охранник заезжает. Я поднимаюсь по ступенькам и пробую завязать с ним разговор, он тотчас же берет свой топорик на караул и готов меня слушать. Этот поднятый топорик, обращенный ко мне холодным лезвием, словно рубит меня по нервам, я немею от страха перед вооруженным человеком и невольно отступаю. Я молчу, только отступаю все дальше и дальше; спасая достоинство, я провожу рукою по лбу, словно забыл что-то, и отхожу. Очутившись снова на тротуаре, я чувствую облегчение, как будто в самом деле избежал серьезной опасности. И спешу прочь.

Холодный и голодный, все больше падая духом, поплелся я по улице Карла-Юхана; при этом я громко ругался, не беспокоясь, что кто-нибудь может это услышать. У здания стортинга, подле первого льва, опять-таки волею воображения, я вспоминаю знакомого художника, молодого человека, которого однажды спас в Тиволи от пощечины, а потом как-то заходил к нему. Весело щелкнув пальцами, я отправляюсь на Турденшэльгатен, отыскиваю дверь с табличкой: «К. Захария Бартель» и стучусь.

Он сам открыл дверь; от него омерзительно пахло пивом и табаком.

– Добрый вечер! – сказал я.

– Добрый вечер! Это вы? Черт возьми, что это вам вздумалось пожаловать ко мне так поздно? Ведь при лампе на моей картине решительно ничего не видно. Со времени вашего прошлого посещения я пририсовал стог сена и кое-что переделал. Приходите днем, а сейчас смотреть нет никакого смысла.

– Все-таки позвольте взглянуть! – сказал я. Впрочем, я не помнил, о какой картине шла речь.

– Это невозможно! – отвечал он. – Все будет казаться желтым! И кроме того... – Понизив голос до шепота, он подошел ко мне вплотную. – Сегодня у меня девушка, так что я никак не могу.

– Ну, в таком случае и толковать не о чем.

Я попятился, пожелал ему доброй ночи и ушел.

Оставалось только одно – идти в лес. Ах, если б земля была не такой сырой! Я поглаживал свое одеяло и понемногу свикался с мыслью, что буду ночевать под открытым небом. Поиски ночлега в городе были столь долгими и мучительными, что я устал, мне все опротивело; так сладостно было почувствовать успокоение, смириться и плестись по улице без единой мысли в голове. Проходя мимо университета, я поднял голову, увидел, что уже одиннадцатый час, и направился к окраине. На Хегдехауген я остановился перед съестной лавкой, у витрины. Рядом с французской булкой спала кошка, тут же была жестянка со свиным салом и стеклянные банки с крупой. Я постоял немного, глядя на это изобилие, но так как денег у меня не было, отвернулся и продолжал путь. Я шел очень медленно, миновал заставу, побрел дальше, все дальше, час за часом, и наконец добрался до пригородного леса.

Здесь я свернул с дороги и присел отдохнуть. Потом стал искать какое-нибудь мало-мальски подходящее место, собрал вереску и можжевельника, устроил постель на маленьком пригорке, где было чуть посуше, развернул свой пакет и вынул одеяло. Я смертельно устал после

долгого пути и тотчас же лег. Много раз я ворочался и ерзал, покуда не устроился наконец поудобнее; ухо у меня слегка побаливало, оно даже распухло от удара кнутом, и я мог лежать только на одном боку. Башмаки я снял и положил под голову, завернув в бумагу от Семба.

Все вокруг было погружено в темноту, стояла тишина, полнейшая тишина. Лишь в высоте звучала вечная песня воздушных стихий, далекий, монотонный гул, который никогда не смолкает. Я так долго прислушивался к этому бесконечному, тоскливому звучанию, что мне сделалось не по себе; ведь это была музыка блуждающих миров, мелодия звезд...

– Нет, это, наверно, дьявольское наваждение! – сказал я и, чтобы ободриться, громко засмеялся. – Это филины кричат в земле Ханаанской!

Я встал, лег и снова встал, надел башмаки, принялся бродить в темноте, потом опять лег и до самого рассвета боролся с ожесточением и страхом, лишь под утро сон наконец одолел меня.

Когда я открыл глаза, было уже совсем светло, и я почувствовал, что время близится к полудню. Я надел башмаки, снова завернул одеяло в бумагу и пошел обратно в город. Солнце, подобно вчерашнему, скрывали тучи, и я мерз, как собака; ноги у меня околели, а глаза слезились, словно ослепленные дневным светом.

Оказалось, что уже три часа. Голод терзал меня все сильнее, я ослаб. Я шел, временами чувствуя тошноту. Потом свернул к общественной столовой, прочитал меню, вывешенное на доске, и выразительно пожал плечами, словно терпеть не мог говядину и свинину; отсюда я отправился на вокзальную площадь.

Голова моя сильно кружилась; я шел дальше и старался не обращать на это внимания, но она кружилась все сильнее, и наконец мне пришлось присесть на лестнице. Все внутри меня переменялось, словно бы сдвинулось с места, или какая-то завеса, какая-то ткань лопнула у меня в мозгу. Раза два я чуть не задохнулся, и сидел пораженный. Я не терял сознания, я определенно чувствовал, как у меня со вчерашнего дня побаливало ухо, и когда мимо прошел знакомый, я тотчас узнал его, встал и поклонился.

Что это за новое, мучительное ощущение добавилось теперь к остальным? Неужели дело в том, что я спал на сырой земле? Или же я чувствую себя так потому, что еще не завтракал? Вообще говоря, не имело смысла влачить столь жалкую жизнь; видит Бог, я решительно не понимал, за что мне ниспослано это наказание! И я подумал, что очень даже просто могу стать прощельгой, могу снести в заклад одеяло. Я получу за него крону, и этого мне хватит трижды плотно пообедать, я продержусь сколько возможно, пока не подвернется что-нибудь другое; а Ханса Паули я как-нибудь обману. Я уже направился к процентщику, но остановился перед дверью, в раздумье покачал головой и повернул назад.

Чем дальше я уходил, тем радостнее становилось мне от мысли, что я преодолел это тяжкое искушение.

Я думал о том, что остался честным человеком, что у меня твердая воля, что я, как яркий маяк, возвышаюсь над мутным людским морем, где плавают обломки кораблекрушений, и это исполняло меня гордости. Заложить чужую вещь, только чтобы пообедать, угрызаться совестью из-за каждого куска, ругать себя прощельгой, стыдиться перед самим собой – нет, никогда! Никогда! Такая мысль не могла прийти мне всерьез, ее, можно сказать, вовсе и не было; а за случайные, мимолетные мыслишки человека винить нельзя, в особенности когда нестерпимо болит голова и до смерти устаешь все время таскать с собой чужое одеяло.

Рано или поздно непременно найдется какой-нибудь выход! Вот, скажем, этот торговец на Грэнланслерет, я предложил ему свои услуги письмом, но разве я обивал его порог? Разве звонил по телефону с утра до ночи и получал отказы? Я просто-напросто не пришел к нему, потому и не знаю ответа. Быть может, из этого выйдет что-нибудь, быть может, на этот раз

счастье мне улыбнется; пути счастья сплошь и рядом неисповедимы. И я отправился на Грэнланслерет.

Последняя встряска меня обессилила, я едва плелся и придумывал, что мне сказать этому торговцу. Наверное, у него добрая душа; если он будет в хорошем настроении, то охотно даст мне крону вперед за работу, даже просить не придется; у подобных людей часто бывают милые чудачества.

Я проскользнул в ворота, смочил слюною свои брюки на коленях, чтобы придать им более приличный вид, сунул одеяло за ящик в темный угол, пересек наискось улицу и вошел в лавку.

Внутри какой-то человек клеил пакеты из старых газет.

– Мне хотелось бы видеть господина Кристи.

– Это я и есть, – отозвался он.

Вот как! А я такой-то, имел честь письмом предложить ему свои услуги и вот хочу узнать, можно ли мне на что-нибудь рассчитывать?

Он несколько раз повторил мое имя и рассмеялся.

– Не соблаговолите ли полюбоваться, как вы оперируете числами, сударь? Вы поместили ваше письмо тысяча восемьсот сорок восьмым годом.

И он захохотал во всю глотку.

– Да, это не очень хорошо, – смущенно сказал я. – Готов признать, я несколько рассеян, невнимателен.

– Мне, да будет вам известно, нужен человек, который никогда не делает ошибок в числах, – сказал он. – А право, жаль, у вас такой четкий почерк, и вообще ваше письмо мне понравилось, но...

Я подождал немного; мне трудно было поверить, что это его последнее слово.

Он снова занялся своими пакетами.

– Да, это досадно, очень досадно, но поверьте, такое никогда больше не повторится, ведь нельзя же из-за легкой описки считать меня совершенно непригодным к работе счетовода?

– Я этого и не считаю, – ответил он. – Но в ту минуту я придал этому такое значение, что тотчас взял другого.

– Стало быть, место занято? – спросил я.

– Да.

– Ах ты Господи, значит, ничего не поделаешь!

– Ровным счетом. Мне очень жаль, но...

– Прощайте! – сказал я.

Звериная ярость овладела мной. Я схватил свое одеяло в подворотне, стиснул зубы, толкал мирных людей на улице и не извинялся. Когда какой-то господин остановился и сделал мне строгое замечание, я повернул к нему голову и выкрикнул ему прямо в ухо какую-то бессмыслицу, потряс кулаками перед самым его носом и пошел дальше, ослепленный бешенством, с которым не в силах был совладать. Он позвал полицейского, и в это мгновение мне больше всего захотелось затеять с полицейским драку, я умышленно замедлил шаг, чтобы меня могли нагнать; но его не было. Что толку, если все самые горячие, самые решительные попытки что-то предпринять оканчивались неудачей? Почему я написал 1848? На что сдался мне этот проклятый год? Теперь я был так голоден, что у меня сводило кишки, причем не приходилось и надеяться, что в этот день я раздобуду хоть немного еды. С течением времени все более сильное опустошение, душевное и телесное, завладевало мною, с каждым днем я все чаще поступал своей честностью. Я лгал без зазрения совести, не уплатил бедной женщине за квартиру, мне даже пришла в голову преподлая мысль украсть чужое одеяло – и никакого раскаяния, ни малейшего стыда. Я разлагался изнутри, во мне разрасталась какая-то черная плесень. А там, на небесах, восседал Бог и не спускал с меня глаз, следил, чтобы моя погибель наступила по всем правилам, медленно, постепенно и неотвратимо. Но в преисподней метались злобные

черти и рвали на себе волосы, оттого что я так долго не совершал смертного греха, за который Господь по справедливости низверг бы меня в ад...

Я прибавил шагу, почти побежал, неожиданно свернул налево и в яростном негодовании очутился перед ярко освещенным, красивым подъездом; я не остановился, не опомнился ни на минуту; но удивительная пышность подъезда мгновенно запечатлелась в моей памяти, каждая мелочь, все украшения стояли перед моим внутренним взором, пока я бежал вверх по лестнице. Во втором этаже я резко позвонил. Почему я остановился именно во втором этаже? И почему схватился за самый дальний от лестницы звонок?

Молодая дама в сером платье с черной отделкой отворила дверь; некоторое время она изумленно смотрела на меня, потом покачала головой и сказала:

– Нет, сегодня у нас ничего нет.

И хотела закрыть дверь.

Почему именно ей суждено было оказаться на моем пути? Она приняла меня за нищего, а я вдруг стал хладнокровен и спокоен. Я снял шляпу, почтительно поклонился и, как будто не расслышав ее слов, сказал с крайней учтивостью:

– Прошу прощения, фрекен, что я так громко позвонил, я не привык к вашему звонку. Кажется, здесь живет больной, который ищет человека возить его в коляске?

Мгновение она постояла, как бы взвешивая мою нелепую выдумку и, видимо, не зная, что обо мне думать.

– Нет, – сказала она наконец. – Никакой больной здесь не живет.

– Разве? Такой пожилой господин, которого нужно возить по два часа в день, за сорок эре в час.

– Нет.

– Тогда еще раз прошу прощения, – сказал я. – Очевидно, это в первом этаже. Я только хотел рекомендовать ему одного человека, своего знакомого, чья судьба мне не безразлична. Меня зовут Ведель-Ярльсберг.

Я снова поклонился и сделал шаг назад; дама покраснела до корней волос, от смущения она не могла двинуться с места и стояла, глядя мне вслед, пока я спускался по лестнице.

Спокойствие снова вернулось ко мне, и голова моя была ясна. Слова дамы, что ей нечего подать сегодня, повлияли на меня, как холодный душ. Я уже дошел до того, что каждый мог, посмотрев на меня, мысленно сказать: «Вон идет нищий, он кланчит у людей себе на пропитание!»

На Меллергаде я остановился у кухмистерской и стал нюхать аппетитный запах жареной говядины; я уже взялся за ручку двери и хотел войти, сам не зная для чего, но вовремя одумался и ушел. Выйдя на площадь, я стал искать места, где бы отдохнуть, но все скамейки были заняты, и я тщетно бродил вокруг церкви в поисках тихого местечка, куда мог бы присесть. «Ну конечно! – с мрачностью сказал я про себя. – Конечно! Конечно же!» И я пошел дальше. У фонтана в углу базара я остановился, выпил воды, снова пошел, волоча ноги, подолгу мешкал у каждой витрины, провожал глазами каждую проезжавшую карету. Голова у меня горела, в висках раздавался какой-то странный стук; выпитая вода не пошла впрок, и время от времени я с трудом удерживался от рвоты. Наконец я добрался до кладбища у храма Спасителя. Я сел, уперся локтями в колени и уронил голову на руки; когда я скорчился таким образом, мне стало лучше, и я уже не чувствовал покалывания в груди.

Какой-то каменщик ползал по гранитной плите неподалеку от меня и высекал надпись; он был в темных очках и вдруг напомнил мне одного моего знакомого, которого я почти забыл, – тот человек служил в банке, и я встретился с ним как-то в кофейне.

Если б только я мог преодолеть свой стыд и обратиться к нему! Сказать ему всю правду о том, как мне теперь тяжело, как трудно добывать пропитание! Я мог бы отдать ему книжку с талонами на бритые... Ах, черт, я совсем позабыл про эту книжку! А там талонов почти на

крону! Взволнованный, я начинаю искать свое сокровище. Не найдя сразу, я вскакиваю, шарю в холодном поту от страха, и наконец нахожу ее на дне бокового кармана вместе с чистыми и исписанными листками, не имеющими никакой ценности. Я несколько раз пересчитываю эти шесть талонов от начала, потом от конца; мне они не очень нужны, – я больше не хочу бриться, такая уж у меня прихоть, фантазия. Я мог бы иметь вместо них полкроны, блестящую монету из конгсбергского серебра! Банк закрывается в шесть, я могу дожидаться своего знакомого у кофейни, он придет часов в семь или в восемь.

Я долго радовался этой мысли. Время шло, в листве каштанов вокруг меня шумел ветер, день клонился к вечеру. Но разве не унижительно соваться с шестью талончиками к молодому человеку, служащему в банке? Как знать, может, у него целых две пухлых книжки в кармане, а талоны в них красивее и чище, чем мои. И я шарил по карманам в надежде найти еще что-нибудь подходящее и предложить ему в придачу, но ничего не нашел. А что, если предложить ему мой галстук? Я отлично могу обойтись и без него, стоит только плотно застегнуть куртку, а мне и без того приходится это делать, раз у меня нет жилета. Я снял галстук, завязанный большим бантом и закрывавший едва ли не половину моей груди, тщательно почистил его и вместе с книжкой завернул в кусок белой бумаги. Потом покинул кладбище и пошел в город.

Часы на ратуше показывали семь. Я держался поблизости от кофейни, прохаживался взад-вперед вдоль железной решетки и внимательно оглядывал всех, кто входил и выходил. Наконец около восьми я увидел молодого человека, чисто и элегантно одетого, который направлялся к дверям кофейни. Когда я увидел его, сердце у меня в груди затрепыхалось, как птичка, и я, не здороваясь, набросился на него.

– Дайте полкроны, старый друг! – нагло сказал я. – А вот это вам в залог. – И я сунул маленький сверток ему в руку.

– Не могу! – сказал он. – Видит Бог, у меня ничего нет! – И он вывернул свой кошелек наизнанку перед самым моим носом. – Вчера вечером я развлекался и теперь сижу на мели. Поверьте, у меня ничего нет.

– Ну не беда, друг мой! – ответил я, поверив ему на слово.

Ведь он, конечно, не стал бы лгать из-за такого пустяка; мне даже показалось, что его серые глаза увлажнились, когда он рылся в карманах и ничего не находил. Я отошел.

– В таком случае извините! – сказал я. – Просто я попал в некоторое затруднение.

Я уже отошел довольно далеко, когда он окликнул меня и напомнил о свертке.

– Оставьте, оставьте его у себя! – откликнулся я. – Сделайте мне удовольствие! Там несколько безделок, мелочь – едва ли не все, что у меня есть на свете.

Я был растроган собственными словами, они прозвучали так безутешно в вечерних сумерках, и я заплакал...

Ветер свежел, тучи быстро неслись по небу, и с наступлением сумерек становилось все холоднее. Я шел по улице и плакал, все больше и больше жалея себя, тои дело у меня вырывались несколько слов, восклицание, от которого слезы, утихшие было, снова наворачивались на глаза:

– Боже, как мне тяжело! Боже, как тяжело!

Прошел час, он тянулся так медленно, что казался бесконечным. Я долго пробыл на Турвгаде, сидел на ступеньках у дверей, прятался в подворотнях, когда кто-нибудь проходил мимо, бессмысленно смотрел через освещенные витрины на сновавших в лавках покупателей и наконец нашел уютное местечко за штабелем досок, между церковью и базаром.

В лес я идти не мог даже под страхом смерти – в тот вечер у меня не было сил, а путь казался таким нескончаемо долгим. Я решил, что как-нибудь протяну ночь здесь, никуда не пойду; если меня одолеет холод, поброжу вокруг церкви, стесняться тут особенно нечего. Я прислонился к доскам и задремал.

Понемногу стало тише, лавки закрывались, шаги прохожих раздавались все реже, наконец в окнах погас свет...

Я открыл глаза и увидел перед собой какого-то человека; блестящие пуговицы бросились мне в глаза, и я понял, что это полицейский; лица видно не было.

– Добрый вечер! – сказал он.

– Добрый вечер! – испуганно ответил я. И встал, чувствуя неловкость.

Он постоял немного без движения.

– Где вы живете? – спросил он.

По старой привычке я, не задумываясь, назвал свой старый адрес, где жил недавно в каморке на чердаке. Он еще немного постоял молча.

– Я сделал что-нибудь дурное? – со страхом спросил я.

– Что вы, вовсе нет! – отвечал он. – Но лучше бы вам пойти домой, здесь вы замерзнете.

– Да, это верно, сегодня свежо.

Я пожелал ему покойной ночи и непроизвольно направился к своему прежнему дому. Соблюдая осторожность, я мог пробраться наверх, никого не потревожив; на лестнице было всего восемь ступеней, и только две верхние грозили скрипнуть.

Я разулся на пороге и пошел. В доме было тихо; на втором этаже я слышал медленное тиканье часов и негромкий плач ребенка; больше я не слышал ни звука. Я отыскал свою дверь, приподнял ее на петлях, открыв, по обыкновению, без ключа, вошел в комнату и бесшумно затворил дверь за собой.

В каморке ничто не изменилось, занавески на окнах были отдернуты, кровать пуста. На столе я увидел бумагу, очевидно, это была моя записка; хозяйка даже не заглянула сюда после моего ухода. Я ощупываю рукой белый квадратик и с удивлением обнаруживаю, что это письмо. Но от кого? Я несу его к окну, разбираю в полутьме каракули и наконец нахожу свое имя. «Ага! – думаю я. – Верно, это от хозяйки, она запрещает мне входить в комнату, если я вздумаю вернуться!»

И медленно, очень медленно, я снова ухожу, неся башмаки в одной руке, письмо в другой и одеяло под мышкой. Я иду на цыпочках, стискиваю зубы, когда ступаю на скрипящие ступени, благополучно преодолеваю лестницу и оказываюсь в подъезде.

Я снова надеваю башмаки, долго вожусь со шнурками, сижу несколько времени, бессмысленно глядя перед собой и держа письмо в руке.

Потом встаю и ухожу.

На улице мерцает газовый фонарь, я иду поближе к свету, кладу сверток у столба и медленно, очень медленно, вскрываю письмо.

Внутри у меня словно вспыхивает пламя, я слышу свой слабый крик, бессмысленный, радостный возглас.

Письмо от редактора, мой фельетон принят и уже отправлен в типографию! «Несколько мелких поправок... две-три случайные описки... очень талантливо... будет напечатано завтра... десять крон».

Смеясь и плача, я пустился бежать по улице, потом остановился, упал на колени, молил всех святых неведомо о чем... А время шло.

Всю ночь до утра я бродил по улицам, обезумев от радости, и повторял:

– Талантливо, значит, маленький шедевр, гениальная вещь. И десять крон!

Часть вторая

Недели через две, как-то вечером, я ушел из дому.

Я снова сидел на кладбище и писал статью для одной из газет; я проработал до десяти, стало темнеть, скоро сторож должен был запереть ворота. Меня мучил голод, сильный голод.

Тех десяти крон, к сожалению, хватило ненадолго; я уже не ел два, почти три дня и чувствовал слабость, мне было трудно даже водить карандашом по бумаге. В кармане у меня был сломанный перочинный ножик и связка ключей, но ни единой монетки.

Так как кладбищенские ворота запирались, мне, конечно, следовало пойти домой; но из бессознательного страха перед своим жилищем, где было темно и пусто, перед заброшенной мастерской жестянщика, где мне в конце концов позволили ютиться до поры до времени, я поплелся куда глаза глядят, мимо ратуши, к набережной, и дальше, к вокзалу, где наконец сел на скамейку.

Черных мыслей вмиг как не бывало, я забыл все свои невзгоды, успокоенный зрелищем морской глади, такой безмятежной и чудесной в вечерних сумерках. По привычке я хотел перечитать то, что недавно написал, моему больному воображению это представлялось лучшим из моих сочинений. Я достал рукопись из кармана, поднес ее к самым глазам, чтобы лучше видеть, и перечитывал страницу за страницей. Наконец я устал и снова сунул бумаги в карман. Все было тихо; море отливало перламутровой синевой, вокруг с места на место порхали птички. Несколько поодаль расхаживал полицейский, а больше не видно было ни души, и вся гавань безмолвствовала.

Я снова перебираю свои богатства: сломанный перочинный ножик, связка ключей, но ни единой монетки. Вдруг я хватаюсь за карман и снова достаю бумаги. Это было машинальное движение, бессознательный нервный порыв. Я отыскиваю чистый, неисписанный листок, и – бог знает, отчего мне пришла эта мысль – сворачиваю кулек, аккуратно загибаю края, чтобы казалось, будто в нем что-то есть, и бросаю его далеко на мостовую; пролетев немного по ветру, кулек падает и лежит неподвижно.

Голод стал невыносимым. Я смотрел на белый кулек, раздутый, словно полный серебряных монет, и мне самому начинало казаться, что он совсем не пустой. Я радовался и пробовал отгадать, сколько там денег, – если верно отгадаю, они будут мои! Я представлял себе маленькие, чудесные монетки по десять эре на самом дне и солидные, чеканные кроны сверху – целый кулек, набитый деньгами! Я таращил на него глаза, и мне хотелось его стащить.

Вдруг слышится кашель полицейского, – и отчего это мне приходит в голову тоже кашлянуть? Я встаю со скамейки и кашляю, делаю это трижды, чтобы он услышал. Как ему не броситься к кульку, когда он подойдет! Я радовался этой шутке, потирал руки от восторга и самозабвенно ругался. Я тебя проведу за нос, собака! Угодишь в самую преисподнюю за эту воровскую проделку! От голода я словно охмелел и был как пьяный.

Через несколько минут подходит полицейский, озираясь по сторонам, железные подковки на его каблуках стучат по мостовой. Он не торопится, у него целая ночь впереди; он замечает кулек, только когда подходит совсем близко. Но вот он останавливается и смотрит на кулек. А кулек так соблазнительно белеет на мостовой, должно быть, там кругленькая сумма, а? Кругленькая сумма серебром? И он поднимает кулек. Гм! Там что-то легкое, очень легкое. Может быть, драгоценное перо для шляпы... Своими большими руками он осторожно открывает кулек и заглядывает внутрь. А я хохочу, хохочу как сумасшедший и хлопаю себя по колену.

Но ни единого звука не вырывается у меня; мой смех безмолвен, он подобен затаенному рыданию...

Снова раздается стук каблуков по мостовой, и полицейский идет дальше по набережной. Я сижу со слезами на глазах и задыхаюсь от лихорадочной веселости. Потом я начинаю разговаривать вслух, рассказываю самому себе о кульке, передразниваю бедного полицейского, заглядываю себе в пустую горсть, снова и снова повторяю про себя: «Он кашлянул, когда бросил кулек! Кашлянул, когда бросил!» Немного погодя я добавляю к этой фразе еще несколько пикантных словечек, переделываю ее, и теперь она звучит гораздо остроумней: «Он кашлянул разок – кхе-хе!»

Эта игра словами меня утомила, был уже поздний вечер, и веселость моя исчезла. Мною овладел дремотный покой, приятная истома, и я этому не противился. Темнота сгустилась, подул легкий ветерок, и перламутровая гладь моря подернулась рябью; мачты кораблей четко рисовались на фоне неба, а сами черные их громады были похожи на молчаливых ошестинившихся чудищ, которые притаились и подстерегали меня. Скорбь моя прошла, ее заглушил голод; теперь я ощущал в себе приятную пустоту, ничто меня не тревожило, и я радовался своему одиночеству. Я забрался на скамейку с ногами и прилег – так удобнее всего было наслаждаться уединением. Ни единое облачко не омрачало мою душу, у меня не было тягостных чувств, и мне казалось, что сбылись все мои мечты и желания. Я лежал с открытыми глазами, словно отрешившись от самого себя, мысленно уносясь в блаженные дали.

По-прежнему ни один звук не нарушал моей безмятежности; мягкий сумрак скрывал от моих глаз весь мир, и я погрузился в глубины покоя – лишь беспокойный шорох тишины наполняет мои уши безмолвием. Когда настанет ночь, эти темные чудища поглотят меня и унесут далеко, за море, в чужие страны, где никто не живет. Они принесут меня к замку принцессы Илаяли, где мне уготовано такое великолепие, какого еще не видел свет. И сама она будет сидеть в сияющей зале, где все сделано из аметиста, на троне из золотистых роз, и протянет ко мне руку, когда я войду, и громко произнесет приветствие, когда я приближусь и преклоню колена: «Приветствую тебя, рыцарь, в моем замке и в моих владениях! Я ждала тебя двадцать лет, я звала тебя все эти светлые ночи, и когда ты страдал, я плакала, а когда ты спал, я навевала тебе прекрасные сны!..» И вот красавица берет меня за руку, указывает путь, ведет по длинным коридорам, где огромные толпы кричат «ура!», через светлые сады, где играют и смеются триста юных дев, в другую залу, где все сделано из лучезарного изумруда. Здесь все залито солнцем, в галереях и портиках раздается сладостное пение, на меня веет благоуханными ароматами. Я держу ее руку в своей и чувствую, как мою кровь воспаляют безумные, колдовские чары; я обнимаю ее, и она шепчет: «Не здесь, пойдем дальше!» И мы входим в алую залу, где все сделано из рубина, – я погружаюсь в лучистое великолепие. И я чувствую, как ее рука обвивается вокруг меня, чувствую на своем лице ее дыхание, слышу шепот: «Приветствую тебя, мой возлюбленный! Целуй меня! Еще... еще...»

Со скамейки мне видны звезды, и моя мысль уносится вместе с вихрем света...

Я уснул, лежа на скамейке, и полицейский разбудил меня. Надо было дальше влачить нищенскую жизнь. Первым моим чувством было тупое изумление, что я очутился под открытым небом, но оно скоро сменилось горькой тоской; я готов был плакать от досады, что я все еще жив. Пока я спал, выпал дождь, платье мое промокло насквозь, и я чувствовал промозглый холод в членах. Темнота стала еще гуще, я с трудом мог разглядеть лицо полицейского.

– Та-а-ак! – сказал он. – А теперь вставайте.

Я тотчас встал; если б он велел мне снова лечь, я повиновался бы. Я был подавлен и совершенно обессилен, да к тому же голод сразу начал снова меня терзать.

– Эй вы, дурак, обождите! – окликнул меня полицейский. – Вы позабыли шляпу. Та-а-ак, теперь ступайте!

– Мне тоже показалось, что я... что я позабыл... – бессвязно лепетал я. – Спасибо. Доброй ночи.

И я поплелся дальше.

Ах, если б теперь кусочек хлеба! Чудесный кусочек черного хлеба, который можно грызть, бродя по улицам! И я думал, что бывает такой особенно вкусный черный хлеб, и хорошо бы его поесть. Голод мучил меня, мне хотелось умереть, и я плакал от избытка чувств. Горе мое было беспредельно. Вдруг я остановился посреди улицы, затопал ногами и стал изрыгать проклятия. Как он меня обозвал? Дураком? Я покажу этому полицейскому, как называть меня дураком! Тут я повернул и бросился назад. Я весь пылал гневом. На улице я споткнулся

и упал, но не обратил на это внимания, вскочил и снова побежал. Добравшись до вокзальной площади, я так устал, что у меня уже не было сил бежать до пристани; кроме того, злоба моя поостыла. Наконец я остановился и перевел дух. Не все ли равно, что сказал какой-то полицейский! Да, но я не намерен все это терпеть! Ну конечно! – перебил я сам себя. – Но что с него спрашивать!.. И это извинение показалось мне достаточным; я повторял про себя, что с него нечего спрашивать. И снова повернул назад.

«Господи, вот наказание, – с горечью думал я. – И придет же в голову бегать, высунув язык, по мокрым улицам в такую темную ночь!» Голод нестерпимо мучил меня, не давал мне покоя. Я то и дело глотал слюну, чтобы хоть немного его заглушить, и это как будто помогало. Вот уже много недель я недоедал, и теперь наступил ощутимый упадок сил. Когда мне, так или иначе, удавалось раздобыть пять крон, их хватало ненадолго, и поэтому я не успевал оправиться до новой голодовки. Хуже всего мне повиновались спина и плечи; боль в груди была не слишком сильна, и я мог унять ее, хорошенько прокашлявшись или подавшись всем телом вперед; а вот спина и плечи были для меня сущим наказанием. Отчего судьба так жестока? Разве я не имею такого же права жить, как антикварий Паша и пароходный агент Хеннехен? Разве у меня нет сильных плеч и пары крепких рабочих рук, разве я не готов удовольствоваться хотя бы местом дровосека на Мёллергаде, чтобы зарабатывать на хлеб насущный? Разве я лентяй? Разве я не искал работы, не слушал лекций, не писал статей, не читал, не трудился день и ночь как одержимый? Разве я не экономил, не питался хлебом и молоком, когда дела мои шли в гору, одним только хлебом – когда они шли хуже, и не голодал – когда оказывался совсем без средств? Разве я жил в гостинице или в большой квартире на первом этаже? Нет, я жил на чердаке, а потом – в мастерской жестянщика, которую в ту зиму совершенно забросили, потому что ее заносило снегом. И теперь я решительно ничего не мог понять.

Я шел и думал обо всем этом, и в душе моей не было ни тени озлобления, зависти или горечи.

Я остановился у лавки, где торговали красками, и стал разглядывать витрину; попытался прочитать затейливые надписи на закрытых коробках, но было слишком темно. Эта моя новая причуда вызвала во мне досаду, я почти сердился, что не могу узнать содержимого этих коробок, стукнул в витрину и пошел прочь. Дальше, на улице, я увидел полицейского, прибавил шагу, подошел к нему вплотную и сказал ни с того ни с сего:

– Сейчас десять часов.

– Нет, сейчас два, – с удивлением возразил он.

– Нет, десять, – настаивал я. – Сейчас десять часов. – Я застонал от злобы, сделал еще несколько шагов вперед, сжал кулак и сказал: – Послушайте, говорю вам, что сейчас – десять.

Несколько мгновений он пытался что-то сообразить, всматривался в меня долго и пристально. Потом сказал тихо:

– Во всяком случае, вам пора домой. Может быть, проводить вас?

– Нет, благодарю. Я несколько засиделся в кофейне. Премного благодарен.

Когда я отошел, он отдал мне честь. Его учтивость меня совершенно обезоружила, и я плакал от обиды, что у меня не нашлось для него пяти крон. Я остановился и долго провожал его глазами, я хлопал себя по лбу и заливался слезами, глядя ему вслед. Я проклинал себя и свою бедность, поносил себя последними словами, измышлял обидные клички, изощрялся в изыскивании самой отборной брани, осыпал ею себя. Так продолжалось почти до самого дома. Дойдя до ворот, я обнаружил, что потерял ключи.

«Ну ясно! – сказал я себе с горечью. – Как мне было не потерять ключей? Я живу на дворе, где есть конюшня, а наверху – мастерская жестянщика; ворота запираются на ночь, и никто, никто не может их открыть, – как же мне было не потерять ключей? Я промок как собака, проголодался, – самую малость проголодался, я чувствовал странную слабость в коленях – как

же мне было не потерять ключей? Почему, в сущности, все жильцы не разъехались, когда мне нужно войти?..» И я смеялся, ожесточенный голодом и немощью.

Я слышал, как лошади на конюшне били копытами, и видел свое окошко наверху; но я не мог открыть ворота и войти. Усталый и раздосадованный, я решил вернуться на пристань и поискать свои ключи.

Снова пошел дождь, и я уже чувствовал, как вода стекает у меня между лопаток. У ратуши мне вдруг пришла прекрасная мысль: я решил обратиться к полиции с просьбой открыть мои ворота. Подойдя к полицейскому, я убедительно попросил его пойти со мной и, если возможно, отпереть замок.

Если б это было возможно, тогда конечно! Но это невозможно, у него нет отмычек. Отмычки только у агентов сыскного отделения.

– Как же мне быть?

– Что ж, придется вам переночевать в гостинице.

– Но я, право, не могу ночевать в гостинице: у меня нет денег. Понимаете, я вышел из дому только в кофейню...

Некоторое время мы постояли на ступенях у ратуши. Он соображал, раздумывал, поглядывал на меня. Дождь лил как из ведра.

– Вам придется пойти в дежурную часть и объявить, что у вас нет пристанища, – сказал он.

Объявить, что у меня нет пристанища? Об этом я не подумал. Ей же ей, прекрасная мысль! Я принялся благодарить полицейского за совет. Значит, я могу просто войти и сказать, что у меня нет пристанища?

– Да, можете!..

– Фамилия? – спросил дежурный.

– Танген... Андреас Танген.

Я сам не знал, зачем лгу. Мысли беспорядочно металась у меня в голове и помимо воли заставляли меня пускаться на всякие ухищрения; я мгновенно придумал эту чужую фамилию и выпалил ее сразу. Я лгал безо всякой надобности.

– Занятие?

Я очутился в безвыходном положении. Гм! Вначале я думал сказать себя жестянщиком, но не рискнул; ведь я назвал себя фамилией, мало подходившей для жестянщика, и, кроме того, у меня были очки на носу. Тогда я набрался нахальства, сделал шаг вперед и сказал торжественно, недрогнувшим голосом:

– Я журналист.

Дежурный вздрогнул, но записал мои слова, а я важно стоял перед ним, словно министр, оказавшийся без пристанища. То, что я помедлил с ответом, не вызвало у дежурного подозрений. Ведь это ни на что не похоже: журналист, стоящий у ратуши, без крова над головой!

– А в какой газете вы сотрудничаете, господин Танген?

– В «Утренней газете», – ответил я. – К сожалению, я вышел сегодня вечером из дому...

– Да полноте! – перебил он и добавил с улыбкой: – Когда молодые люди отлучаются из дому... Это мы понимаем. – Он встал и почтительно поклонился мне, а потом сказал какому-то полицейскому: – Проводите господина в резервную камеру. Спокойной ночи.

От собственной дерзости по спине у меня пробежали мурашки, и, сжав кулаки, я старался ободриться.

– Газ горит только десять минут, – предупредил полицейский еще в дверях.

– А потом тушится?

– Да, потом тушится.

Я сел на кровать и слышал, как ключ повернулся в замке. В камере было светло, она казалась уютной; чувствуя кров над головой, я с удовольствием прислушивался к шуму дождя.

Иметь бы всегда такую уютную комнатку – лучшего я и не желал! На душе у меня стало гораздо спокойней. Сидя на кровати со шляпой в руке и глядя на газовый светильник у стены, я повторял про себя подробности этого первого своего столкновения с полицией. Да, я впервые столкнулся с ними, и до чего же ловко я их провел! Журналист Танген, не угодно ли? Из «Утренней газеты»! Я поразил этого господина в самое сердце «Утренней газетой»! «Да полноте!» Каково?

Засиделся в гостях подле собора до двух ночи, забыл дома ключ и бумажник с несколькими тысячами крон! «Проводите господина в резервную камеру...»

Но вот газовый светильник гаснет, гаснет сразу, без предупреждения; я сижу в полной тьме, не видя даже своей руки, не видя белых стен камеры, ничего. Остается одно – лечь спать. И я раздеваюсь.

Но я не мог уснуть, сон не шел ко мне. Некоторое время я лежал, глядя в темноту, в густую, плотную, бездонную и непостижимую. Моя мысль не могла ее охватить. Мрак был слишком густым, он давил меня. Я зажмурился и стал напевать вполголоса, я ерзал на койке, чтобы развеять тягостные чувства; но все было тщетно. Мрак поглощал все мои мысли и ни на мгновение не отступал. А вдруг сам я весь растворился в этом мраке, слился с ним воедино? Я вскакиваю с койки и размахиваю руками.

Нервное возбуждение совершенно завладело мною, и как ни старался я избавиться от него, ничто не помогало. И вот я сидел, обуреваемый престранными фантазиями, баюкал себя, напевал колыбельную песенку, силился себя успокоить, весь в поту от этих усилий. Я пристально вглядывался во мрак, такой глубокий, какого я в жизни не видел. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что это совершенно особенная темнота, грозная стихия, с какой еще никто не сталкивался. Мне приходили в голову самые нелепые мысли, все вокруг пугало меня. Вот в стене над койкой небольшое отверстие, оно меня очень занимает. Это дырка от гвоздя, думаю я, это знак, оставленный на стене. Я ощупываю отверстие, дую в него. Стараюсь определить его глубину. Нет, это не простое отверстие, как бы не так; это очень хитрое и таинственное отверстие, его следует остерегаться. Поглощенный этой мыслью, охваченный жгучим любопытством и страхом, я наконец встал с койки, отыскал свой перочинный ножик и измерил глубину отверстия, дабы убедиться, что оно не выходит в соседнюю камеру.

Затем я опять прилег и попытался уснуть, но вместо этого снова начал бороться с мраком. Дождь на дворе перестал, и не слышно было ни звука. Я долго прислушивался и не успокоился, пока не услышал шаги на улице – по всей видимости, это прошел полицейский. Потом я стал щелкать пальцами и смеяться. Ха-ха! Черт возьми! В голову мне пришло новое, небывалое слово. Я приподнимаюсь на койке и говорю: «Кубоа», – такого слова нет в языке, я сам его выдумал. Как и всякое слово, оно состоит из букв, видит Бог. Да, брат, ты создал слово... «Кубоа»... оно имеет огромное значение для грамматики.

Это слово четко рисовалось передо мной во мраке.

Теперь я сижу на койке, широко раскрыв глаза, поражаюсь своей находке и смеюсь от радости. Я говорю шепотом: меня ведь могут подслушать, а я хочу сохранить свое изобретение в тайне. От голода мною овладело ликующее безумие: боль надо мной не властна, мысль не знает удержу. Она делает непостижимый скачок, пытаюсь уяснить смысл нового слова, придуманного мною. Нет, оно вовсе не значит «Бог» или «Тиволи», и с какой стати должно оно обозначать «зверинец»? Стиснув кулаки, я повторяю: «С какой стати должно оно обозначать зверинец?» Если вдуматься, оно не может значить «висячий замок» или «восход солнца». Но смысл его отыскать не так уж трудно. Я подожду, предоставлю дело времени. А покамест можно поспать.

Я лежу на койке и улыбаюсь молча, ничего не говорю ни «за» ни «против». Но через несколько минут я прихожу в волнение, новое слово не дает мне покоя, оно то и дело возвращается и наконец совершенно завладевает моими мыслями, отчего я становлюсь очень серьезен. Я уже твердо решил, чего оно не должно обозначать, но не определил, что же оно все-таки зна-

чит. «Это – несущественный вопрос!» – громко говорю я себе, беру сам себя за руку и повторяю, что это – несущественный вопрос. Слово, с Божьей помощью, найдено, и это – главное. Но мысль о том, что оно может значить, не оставляет меня, мешает уснуть; перед столь редкостным словом я безоружен. Наконец я снова сажусь на койку, сжимаю обеими руками голову и говорю: «Нет, положительно невозможно, чтобы оно значило «эмиграция» или «табачная фабрика»! Если б оно могло значить что-нибудь в этом роде, я давно уже остановился бы на этом и сделал соответствующие выводы. Нет, это слово, собственно, рождено для обозначения чего-то *духовного*: чувства, душевного состояния – как же я до сих пор этого не понял? Я роюсь в памяти, ищу какое-нибудь духовное понятие. И вдруг мне чудится, будто я слышу чей-то голос, будто кто-то вмешивается в мои рассуждения, и я говорю сердито: «Это еще что такое? Вот идиот, каких свет не видел! Как может оно значить «пряжа»? Пошел ты к черту!» С какой стати мне соглашаться, что оно значит «пряжа», когда я с самого начала был против этого? Ведь слово придумал я и имею полное право придать ему смысл, какой пожелаю. А я, кажется, еще не высказал своего мнения...

Но мысли мои становились все иступленней. Наконец я соскочил с койки и стал искать водопроводный кран. Пить мне не хотелось, но голова была в жару, и меня тянуло к воде. Напившись, я снова лег и решил уснуть во что бы то ни стало. Закрыв глаза, я принудил себя успокоиться. После этого я пролежал несколько минут не шелохнувшись. Я был в испарине и чувствовал буйные толчки крови у себя в жилах. Нет, подумать только, как прекрасно это получилось, что он стал искать денег в бумажном кульке! Он кашлянул разок. Небось он до сих пор там бродит? Сидит на моей скамейке?.. Перламутровая синева... Корабли...

Я открыл глаза. Что было толку жмурить их, раз я не мог уснуть! Все тот же мрак окружал меня, все та же бездонная черная вечность, сквозь которую не могла пробиться моя мысль. С чем бы его сравнить? Я сделал отчаянное усилие, чтобы приискать самое черное слово для обозначения этого мрака, столь ужасающе черное слово, чтобы мой рот почернел, произнося его. Господи, как темно! И я снова начинаю думать о гавани, о кораблях, о черных чудющах, что подстерегают меня. Они хотели заманить меня, схватить и увлечь за моря и земли, за черные, никем не виданные страны. Мне кажется, будто я на корабле, я уплыл в море, воспарил к облакам и падаю, падаю... Я издаю отчаянный крик и стискиваю руками края койки; это был опасный полет, я со свистом летел вниз, как мешок с камнями. И когда руки мои ощутили твердые края койки, я не почувствовал себя спасенным. «Вот она, смерть, – сказал я себе. – Теперь ты умрешь!» Некоторое время я размышлял о своей неизбежной смерти. Потом приподнялся на койке и строго спросил: «А кто сказал, что ты должен умереть?» Раз я сам выдумал слово, то имею полное право решить, что оно должно значить... Я слышал свой голос, слышал собственные фантазии. Это было безумие, бред, порожденный слабостью и истощением, но я не лишился чувств. И вдруг меня пронзила мысль, что я сошел с ума. Охваченный страхом, я соскочил с койки. Шатаясь, пошел к двери, попытался ее открыть, несколько раз ударился в нее всем телом, чтобы ее высадить, потом уперся лбом в стену, громко стонал, кусая себе пальцы, плакал, бормотал проклятия...

Все было тихо; только мой голос метался по камере, бессильный преодолеть каменные стены. Ноги больше не держат меня. И я падаю на пол. Высоко над собою я смутно различаю в стене серый квадрат, он приобретает беловатый оттенок, и меня осеняет предчувствие – это дневной свет. Ах, с каким облегчением я вздохнул! Я распростерся на полу и плакал, радуясь этому проблеску света, это были слезы благодарности, я посылая окну поцелуи и безумствовал. Но в это мгновение я сознавал, что делаю. Вся моя подавленность сразу прошла, отчаяние и боль исчезли, мне ничего больше не было нужно, я не мог придумать ни единого желания. Я сидел на полу, скрестив на груди руки, и терпеливо ждал наступления дня.

«Какая ужасная была ночь! Странно, что никто не слышал шума», – с удивлением думал я. Но ведь я был в резервной камере, расположенной гораздо выше всех остальных. Министр,

очутившийся без пристанища, если можно так выразиться. У меня было теперь прекрасное, ничем не омраченное настроение, я пристально смотрел на окно, за которым брезжил рассвет, и забавлялся, воображая, будто я важная особа, величал себя фон Тангеном и старался выражаться, как подобает сановнику. Фантазия моя по-прежнему работала, но я стал гораздо спокойней. Проклятая рассеянность, из-за нее я забыл дома бумажник. Не окажет ли мне господин министр великую честь, не позволит ли он предложить ему постель? С необычайной важностью, очень церемонно, я подошел к койке и лег.

Стало уже так светло, что я мог различать стены камеры, а немного погодя разглядел и тяжелую ручку двери. Это развлекло меня; однообразный мрак, столь раздражающе плотный, что я не видел самого себя, рассыпался; кровь в моих жилах текла спокойней, и вскоре я почувствовал, что у меня смыкаются глаза.

Меня разбудил стук в дверь. Я вскочил и поспешно оделся; мое платье еще не высохло со вчерашнего вечера.

– Пожалуйте вниз, к дежурному, – сказал полицейский.

«Значит, снова предстоят всякие формальности!» – со страхом подумал я.

Я спустился вниз, в большую комнату, где сидели тридцать или сорок бездомных людей. Их поочередно выкликали по списку и давали им талоны на обед. Дежурный то и дело спрашивал стоявшего рядом полицейского:

– Талон выдан? Не забывайте выдавать талоны. Ведь они, должно быть, голодны.

Я смотрел на все эти талоны и мечтал тоже заполучить один.

– Андреас Танген, журналист!

Я шагнул вперед и поклонился.

– Послушайте, вы-то каким образом сюда попали?

Я объяснил, как было дело, рассказал ту же историю, что и вчера, я лгал не моргнув глазом, лгал совершенно искренне: засиделся в кофейне, потерял ключ...

– Ах так, – сказал он и улыбнулся. – Вон оно что! Хорошо ли вас тут устроили?

– Как министра, – ответил я. – Как министра!

– Очень рад! – сказал он, вставая. – До свидания!

Я ушел.

И мне бы, и мне бы талончик! Я не ел целых три дня! Хоть бы кусок хлеба! Но никто не предложил мне талон, а попросить я не решился. Это сразу вызвало бы подозрение. Стали бы копаться в моих личных делах и доискиваться, кто я такой в действительности; и арестовали бы меня за ложные показания. Высоко подняв голову и сунув руки в карманы, я вышел из ратуши гордо, словно миллионер.

Солнце уже пригревало, было десять часов, площадь заполнили экипажи и пешеходы. Куда пойти? Я хлопаю по карману, нащупываю свою рукопись, – в одиннадцать часов попытаюсь заглянуть к редактору. Стоя у балюстрады, я наблюдаю, как подо мной кипит жизнь: от моей одежды идет пар. Голод снова проснулся, болью сводит грудь, пробегает судорогой по телу, слабо, но ощутимо пронзает меня. Неужели мне не найти ни друга, ни знакомого – никого, к кому бы я мог обратиться? Я роюсь в памяти, стараюсь придумать, кто дал бы мне десять эре, но не нахожу такого человека. А день так чудесен! Вокруг столько тепла и света; небо растеклось над головой, как море, опрокинутое над горной грядой...

Незаметно для себя я пошел к дому.

Я был очень голоден и, подобрав с земли щепку, стал жевать ее. Это помогло. Как я не подумал об этом раньше!

Ворота были отперты, конюх, по обыкновению, пожелал мне доброго утра.

– Хорошая сегодня погодка! – сказал он.

– Да, – отвечал я.

И больше не нашелся что сказать. Не попросить ли у него пять крон? Он охотно даст, если только у него есть. К тому же я однажды написал по его просьбе письмо.

Он стоял, явно намереваясь что-то сказать.

– Хорошая погодка, да. Гм... А мне сегодня платить хозяйке, так не будете ли вы добры сосудить мне пять крон? Всего на несколько дней. Вы ведь однажды уже выручали меня.

– Право, никак не могу, Йенс Олай, – сказал я. – Сейчас у меня нет. Может быть, попозже, к вечеру...

И я потащился по лестнице к себе.

Я бросился на постель и стал смеяться. Какое счастье, что он меня опередил! Моя честь спасена. Пять крон – Бог с тобою, любезный! С таким же успехом ты мог бы попросить у меня пять акций общественной столовой или загородную усадьбу.

При мысли об этих пяти кронах я смеялся все громче и громче. Ну не молодчина ли я? Пять крон! Нашел подходящего человека! Я не мог совладать со своей веселостью, она захватила меня всего. Тьфу, черт возьми, как пахнет съестным! Запах жаркого с самого обеда, тьфу! Я распахиваю окно, чтобы выветрился этот отвратительный запах. Человек, половину бифштекса! Обращаясь к столу, к своему сломанному столу, который приходится поддерживать коленями, когда пишешь, я говорю с низким поклоном:

– Я Танген, министр Танген. К сожалению, я немного засиделся... и забыл ключ от ворот...

И мысли мои, вырвавшись на волю, снова понеслись как безумные. Я сознавал, что говорю бессвязно, и внимательно прислушивался к своим словам. Я сказал себе: «Вот ты снова ведешь бессвязные речи!» И все же я ничего не мог с собой поделать. Я не спал и все же разговаривал, как во сне. Голова моя была легка, я не чувствовал ни боли, ни тяжести, и ни единое облачко не омрачало душу. Я плыл по воле стихий.

Входите! Да входите же! Как видите, здесь все сделано из рубина. Илаяли, Илаяли! Красивая, дивная шелковая тахта! Как бурно дышит ее грудь! Целуй меня, мой возлюбленный! Еще! Еще! Твои руки золотисты, как янтарь, твои уста пылают... Человек, я заказал бифштекс...

Солнце светило в окно, я слышал, как лошади внизу хрупали овсом. А я грыз свою щепку и радовался от души, как ребенок. То и дело я ощупывал свою рукопись; я ни разу не подумал о ней, но чутье подсказывало мне, что она здесь, моя кровь напоминала про нее.

Она промокла, я развернул ее и положил на солнце. Потом начал расхаживать взад-вперед по комнате. Какое вокруг меня удручающее зрелище! На полу мелкие растоптанные обрезки жести, и нет ни одного стула, ни одного гвоздя на голых стенах. Все отправлено в лавчонку к процентщику, все проедено. Несколько листков бумаги на столе, покрытые толстым слоем пыли, составляли все мое имущество; старое, зеленое одеяло на кровати мне одолжил Ханс Паули много недель тому назад. Ханс Паули! Я шелкаю пальцами. Ханс Паули Петтерсен поможет мне! И я стараюсь вспомнить его адрес. Как это я мог забыть Ханса Паули! Он, конечно, очень обидится, что я не сразу обратился к нему. Я быстро надеваю шляпу, собираю исписанные листки и сбегая вниз по лестнице.

– Послушайте, Йенс Олай, – крикнул я в двери конюшни. – Я твердо уверен, что вечером смогу вам помочь!

Подойдя к ратуше, я вижу, что уже двенадцатый час, и решаю немедленно отправиться в редакцию. У редакционной двери я останавливаюсь, чтобы взглянуть, в порядке ли сложены страницы рукописи. Я тщательно разглаживаю ее, снова кладу в карман и стучу. Когда я вхожу, мне слышно, как бьется мое сердце.

Человек-Ножницы, по обыкновению, был занят своим делом. Я робко справился о редакторе. Он не ответил. Все сидел да отыскивал мелкие новости в иногородних газетах.

Я повторил свой вопрос, подойдя поближе.

- Редактор еще не приходил, – наконец-то отвечают Ножницы, даже не взглянув на меня.
- А когда он придет?
- Не берусь сказать, положительно не берусь.
- До какого времени открыта редакция?

Я не получил никакого ответа и вынужден был уйти, Человек-Ножницы во время нашего разговора ни разу не посмотрел мне в лицо; он узнал меня по голосу. «На каком же ты здесь дурном счету, – подумал я, – если тебе даже ответить не хотят. Неужели так распорядился редактор?» Правда, после своего знаменитого фельетона за десять крон я засыпал его статьями, бегал к нему почти каждый день, приносил негодную стряпню, которую ему приходилось читать, а потом возвращать обратно. Пожалуй, он решил положить этому конец и принял свои меры... Я пошел к центру города.

Ханс Паули Петтерсен, студент из крестьян, жил на чердаке пятиэтажного дома, – стало быть, Ханс Паули Петтерсен был бедный человек. Но если у него найдется крона, он не пожалует ее. Я могу считать, что она у меня в руке. Идя к нему, я не переставал радоваться этой кроне и был уверен, что получу ее. Дверь подъезда была заперта, пришлось позвонить.

– Я хотел бы видеть студента Петтерсена, – сказал я и попытался войти. – Я знаю, где он живет.

– Студента Петтерсена? – повторила горничная. – Того, что жил на чердаке? Да ведь он переехал.

Она не знала, куда именно; однако он просил пересылать письма к Хермансену на Тульбудгатен, номер такой-то.

Обнадеженный, я отправляюсь на Тульбудгатен за адресом Ханса Паули. Больше мне не на что было рассчитывать, приходилось цепляться за последнее. Я прошел мимо новостройки, где плотники строгали доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал в карман, про запас, и продолжал свой путь. Я стонал от голода. В витрине булочной я увидел хлеб необычайной величины, ценою в десять эре, самый большой хлеб, какой можно купить за эти деньги...

– Я хотел бы узнать адрес студента Петтерсена.

– Улица Бернта Анкера, дом десять, на чердаке... Вы идете туда? В таком случае не прихватите ли для него вот эти письма?

И я отправляюсь в город той же дорогой, какой пришел, снова прохожу мимо плотников, которые теперь сидят, поставив котелки на колени, и едят вкусный, горячий обед, мимо булочной, где в витрине все так же лежит хлеб, и когда я наконец добираюсь до улицы Бернта Анкера, то едва не падаю от истощения. Дверь не заперта, и я по длинной, крутой лестнице взбираюсь на чердак. Я вынимаю письма из кармана, чтобы, войдя, сразу обрадовать Ханса Паули. Он, конечно, не откажется протянуть мне руку помощи, когда я изложу ему все обстоятельства, – конечно, нет, у Ханса Паули отзывчивое сердце, я всегда так считал...

На двери была приколота карточка: «Х.-П. Петтерсен, студ. богосл., уехал на родину».

Я сажусь, сажусь прямо на голый пол, не в силах шевельнуться от усталости, обессилев от истощения. Я машинально повторяю несколько раз: «Уехал на родину! Уехал на родину!» Потом умолкаю. Глаза мои сухи, никаких мыслей, никаких чувств нет во мне. Я с недоумением рассматриваю письма и сижу без движения. Проходит десять минут, а может быть, все двадцать или даже больше, но я все сижу на месте, даже не пошевелившись. Это тупое оцепенение подобно сну. Вдруг я слышу шаги на лестнице, встаю и говорю:

– Тут жил студент Петтерсен, я принес ему два письма.

– Он уехал, – отвечает женщина. – Но он вернется после каникул. А письма, если хотите, можете отдать мне.

– Спасибо, вы очень любезны, – сказал я. – Тогда он возьмет их у вас, как только вернется. Ведь письма, наверно, очень важные. До свиданья.

Выйдя из дома, я остановился посреди улицы и, сжав кулаки, произнес громко:

– Вот что я тебе скажу, милосердный Боже: теперь я знаю, каков ты есть! – И в бешенстве, стиснув зубы, я погрозил небу кулаком. – Черт меня побери, если я этого не знаю!

Пройдя еще несколько шагов, я снова останавливаюсь. Внезапно, переменяв тон, я смиренно складываю руки, склоняю голову и кротким, елеинным голосом спрашиваю:

– А молил ли ты Его, сын мой?

Это прозвучало фальшиво.

– Его – с большой буквы, – продолжал я. – С буквы Е, огромной, как колокольня. Я спрашиваю снова: – Просил ли ты Его, сын мой? – И, понуриив голову, я ответил печально: – Нет!

И это тоже прозвучало фальшиво.

Ты не умеешь лицемерить, глупец! Ты должен бы сказать: «Да, я взывал к Господу Богу моему!» И ты должен бы произнести эти слова жалостно, как можно жалостней. Ну-ка, еще разок! Вот теперь уже лучше. Но при этом надо вздыхать, вздыхать тяжело, как измученная лошадь. Вот так!

Я иду и поучаю себя, а когда это мне надоедает, сердито топаю ногами и обзываю себя дубиной, к удивлению прохожих, которые оборачиваются и глядят на меня.

Все это время я жевал стружку и не останавливаясь шел по улице. Я даже не заметил, как очутился на вокзальной площади. Часы на храме Спасителя показывали половину второго. Я постоял немного в раздумье. На лбу у меня выступила испарина, пот заливал глаза.

– А не пойти ли на пристань? – сказал я себе. – Разумеется, если у тебя есть время.

Я поклонился самому себе и пошел на пристань.

Корабли стояли на рейде, море зыбилось, сверкая под солнцем. Здесь царило оживление, раздавались пароходные свистки, сновали грузчики с ящиками на спинах, с баржей доносились веселые песни. Неподалеку от меня какая-то женщина торговала пирожками, она клевала почернелым носом над своим товаром; столик перед нею завален лакомствами, и я презрительно отворачиваюсь. Она всю пристань завоняла; тьфу, проветрите набережную! Я обращаюсь к господину, сидящему рядом со мной, и убедительно доказываю ему, как неуместно торговать пирожками везде и всюду... Вы не согласны? Хорошо, однако не станете же вы спорить, что... Но господин почувствовал неладное, он не дал мне договорить до конца, встал и ушел. Я тоже встал и последовал за ним, твердо решив доказать ему, что он заблуждается.

– Это недопустимо также и в санитарном отношении, – сказал я, похлопав его по плечу.

– Извините, я приезжий и ничего не понимаю в санитарии, – сказал он, глядя на меня в ужасе.

– Ну, если вы приезжий, тогда дело другое... – Не могу ли я быть вам полезен? Не показать ли вам город? Нет? Я с удовольствием сделал бы это безо всякого вознаграждения...

Но он явно хотел избавиться от меня и быстро перешел на другую сторону улицы.

Я вернулся к своей скамейке и снова сел. Я был очень огорчен, и шарманка, громко заигравшая поодаль, еще больше расстраивала меня. Отрывисто звякая, она наигрывала что-то из Вебера, и под этот аккомпанемент маленькая девочка пела печальную песенку... Надрывные пискливые звуки шарманки пронизывают меня, нервы мои дрожат, точно вторят этим звукам, и вот я уже тихонько напеваю что-то жалобное, откинувшись на спинку скамьи. Каких только ощущений не испытывает голодный человек! Я чувствую, как эти звуки завладевают мною, я растворяюсь в них, устремляюсь потоком, отчетливо сознаю, что я устремился потоком ввысь, воспарил высоко над горами, несясь в пляске над лучезарными далями...

– Подайте эре! – говорит девочка, которая пела под шарманку, и протягивает металлическую тарелочку. – Всего только эре!

– Сейчас, – отвечаю я безотчетно и, вскочив, шарю по карманам.

Но девочка думает, что я просто смеюсь над ней, и уходит, не сказав более ни слова. Это бессловесное смирение я не в силах вынести; если б она обругала меня, мне было бы гораздо легче; мне стало больно, и я окликнул ее:

– У меня нет ни единого эре, но я вспомню о тебе скоро, быть может, завтра же. Как тебя зовут? Какое красивое имя, я его не забуду. Итак, до завтра...

Но я прекрасно понимал, что она не поверила мне, хотя промолчала, и я плакал от отчаяния, что эта маленькая уличная девочка мне не верит. Я еще раз окликнул ее, быстро расстегнул куртку и хотел отдать ей свой жилет.

– погоди минутку, – сказал я. – Вот тебе в залог...

Но жилета на мне не было.

С чего это я подумал о жилете? Ведь вот уж которую неделю я хожу без него. Что со мной? Испуганная девчушка поспешно попятилась от меня. Я не мог ее более удерживать. Вокруг собирался народ, все громко смеялись, полицейский, раздвигая толпу, шел узнать, что случилось.

– Ничего, – говорю я. – Решительно ничего не случилось! Я просто хотел отдать свой жилет вон той девочке... или, верней, ее отцу... Вы напрасно смеетесь. Дома у меня есть еще один.

– Нечего безобразничать на улице! – говорит полицейский. – Марш отсюда. – И он толкает меня. А потом кричит мне вдогонку: – Пойдите, это ваши бумаги?

– Да, черт возьми, это моя статья для газеты, очень важная рукопись! Как я мог допустить такую небрежность...

Я беру рукопись, проверяю, в порядке ли она, и, не задерживаясь ни на минуту, даже не оглядываясь, иду в редакцию. Часы на храме Спасителя показывают четыре. Редакция заперта. Я спускаюсь по лестнице, дрожа, как вор, и в нерешимости останавливаюсь у подъезда. Что мне теперь делать? Я прислоняюсь к стене, смотрю себе под ноги, на камни, и думаю. У моих ног лежит блестящая булавка, я нагибаюсь и поднимаю ее. Что, если срезать пуговицы с моей куртки, много ли мне дадут за них? Но нет, это напрасный труд. Пуговицы остаются пуговицами; однако я внимательно осмотрел их и нашел, что они почти новые. Во всяком случае, это счастливая мысль, я срежу их перочинным ножом и отнесу в заклад. Надежда выручить денег за эти пять пуговиц тотчас оживила меня, и я сказал: «Ну вот, дело налаживается!» Радость охватила меня, я тотчас принялся срезать пуговицы одну за другой. При этом я говорил безмолвно: «Да, я, видите ли, несколько обнищал, у меня временные затруднения... Вы говорите, они потерты? Полноте. Уверяю вас, никто на свете так не бережет пуговицы, как я. Куртка у меня всегда расстегнута, доложу я вам; так уж у меня заведено, я привык... Ну, если вам не угодно, что ж... Но мне нужно выручить за них хотя бы десять эре... Нет, Господи, кто говорит о вас? Отвяжитесь, сделайте милость, оставьте меня в покое... Что ж, прекрасно, зовите полицию. Я подожду, пока вы сходите за полицейским. И ничего у вас не украду... Ну хорошо, до свидания, до свидания! Стало быть, моя фамилия Танген, – я несколько засиделся...»

На лестнице раздаются шаги. Я сразу возвращаюсь к действительности; это Человек-Ножницы, и, узнав его, я быстро прячу пуговицы в карман. Он хочет пройти мимо, он даже не отвечает на мой поклон и вдруг начинает усердно разглядывать свои ногти. Я останавливаю его и справляюсь про редактора.

– Он не приходил.

– Вы лжете! – говорю я. И с наглостью, поразившей меня самого, продолжаю: – Мне необходимо с ним переговорить. Неотложное дело. Важные сведения.

– А не можете ли вы сказать мне?

– Нет! – отрезал я и смерил его взглядом.

Это возымело действие. Он тотчас пригласил меня наверх и отпер дверь. Волнение душило меня. Чтобы собраться с духом, я крепко стиснул зубы, постучался и вошел в кабинет редактора.

– Здравствуйте! Это вы? – приветствовал он меня. – Садитесь, пожалуйста.

Если б он сразу указал мне на дверь, мне было бы гораздо легче; я почувствовал, что слезы навернулись мне на глаза, и сказал:

– Прошу извинения...

– Садитесь, – повторил он.

Я сел и объяснил, что написал новую статью, которую мне очень важно поместить в его газете. Я много работал над нею, она стоила мне больших усилий.

– Я ее прочту, – сказал он и взял статью. – Все, что вы пишете, стоит вам больших усилий, но вы слишком порывисты. Если б вы могли быть немного хладнокровнее! У вас слишком много пыла. Но все-таки прочту.

И он снова склонился над своим столом.

А я все сидел. Нельзя ли попросить у него крону? Объяснить, откуда этот мой всегдашний пыл? Он, конечно, поможет мне; ведь это не в первый раз.

Я встал. Гм! Однако когда я был у него в последний раз, он жаловался на денежные затруднения, даже посылал куда-то кассира за мелочью для меня. Пожалуй, и теперь будет то же. Нет, это недопустимо. И разве я не видел, что он занят работой?

– Вам угодно еще что-нибудь? – спросил он.

– Нет! – сказал я, стараясь придать своему голосу твердость. – Когда прикажете зайти?

– Ну, как-нибудь при случае, – ответил он. – Скажем, дня через два.

Я не мог выговорить свою просьбу. Казалось, любезность этого человека безгранична, я не мог ее не оценить. Лучше уж умереть с голоду. И я ушел.

Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверь, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?

– Стыд и срам! – громко сказал я. – Неужели тебе могло прийти в голову просить у этого человека крону и ставить его в неловкое положение? – И я стал строго выговаривать себе за свое бесстыдство. – Право, в жизни не слыхивал ничего гнуснее! – сказал я. – Набрасываться на человека, норовить чуть ли не выцарапать ему глаза только потому, что тебе, презренному псу, нужна корона! Убирайся отсюда. Живо! Живо, дурак! Вот я тебе покажу!

И чтобы наказать себя, я пустился бегом, пробегал улицу за улицей, гнал себя вперед, мысленно понукал, бешено покрикивал, когда бег замедлялся. Тем временем я очутился уже на Пилестредет. Когда я наконец остановился, готовый заплакать от ярости, что не могу больше бежать, все мое тело содрогалось, и я присел на какую-то ступеньку.

– Нет, погоди! – сказал я. И чтобы как следует наказать себя, снова встал и заставил себя стоять, и смеялся над собою, и радовался собственному бессилию. Наконец, через несколько минут, я кивнул и позволил себе присесть; но при этом выбрал самое неудобное место на ступеньке.

Господи, как сладостен был отдых! Я вытер пот с лица и глубоко вдыхал свежий воздух. Как я бежал! Но жалости к себе я не чувствовал – так мне и надо. Зачем вздумал просить крону? Теперь вот получай! Потом я смягчился, заговорил с собой ласково, увещевал себя, как мать ребенка. Это меня растрогало, ведь я так устал, был обессилен, и я заплакал. Это был тихий, затаенный плач, внутреннее рыдание без слез...

Я присидел на одном месте с четверть часа или даже более. Люди проходили мимо, но никто не трогал меня. Вокруг играли дети, на дереве, по другую сторону улицы, пела какая-то пташка.

А потом ко мне подошел полицейский.

– Зачем вы здесь сидите? – спросил он.

– Зачем сижу? – повторил я. – Просто так, для собственного удовольствия.

– Я слежу за вами целых полчаса, – сказал он. – Ведь вы сидите здесь полчаса?..

– Да, около того, – ответил я. – Ну и что?

Я вскочил и пошел прочь.

Выйдя на площадь, я остановился и стал глядеть вдоль улицы. Для собственного удовольствия! Разве это ответ? Надо было сказать как можно жалостней: я сижу, потому что устал. Дурак ты дурак, никогда не научишься ты притворяться. Потому что я устал! И дышать надо было тяжело, как загнанная лошадь.

Подойдя к пожарному депо, я опять остановился, потому что в голову мне взбрела новая фантазия. Я щелкнул пальцами, громко захохотал, к удивлению прохожих, и сказал:

– Нет, тебе, право, нужно сходить к пастору Левисону. Непременно. Попытка не пытка. Терять-то нечего. Да и погода прекрасная.

Я зашел в книжный магазин Паши, справился в адресной книге, где живет пастор Левисон, и отправился к нему.

– Ну, теперь надо взять себя в руки, – сказал я. – Хватит шуток! Совесть, говоришь? Вздор, ты слишком беден, чтобы носиться со своей совестью. Ты голоден, ты идешь по важному делу, просить о самом необходимом. Ты должен склонить голову к плечу и говорить проникновенным голосом. Не хочешь? В таком случае я тебе больше не друг, так и знай. Вот что: ты истерзан тревогой, борешься по ночам с силами мрака и с огромными безмолвными чудидцами, погибаешь от голода, жаждешь вина и молока, но не имеешь ничего.

Дела твои плохи. Вот ты стоишь, и ничегошеньки нет у тебя за душой. Но ты, слава Богу, веруешь в милосердие, ты все-таки не утратил веры! И чтобы верить в милосердие, ты должен сложить руки и быть хитрее самого сатаны. А Маммону ты ненавидишь во всякой личине; другое дело – получить молитвенник и две кроны на память... Я остановился у двери пастора и прочел: «Прием от 12 до 4».

– А теперь без глупостей! – сказал я. – Дело нешуточное! Итак, склони голову к плечу...

Я позвонил.

– Нельзя ли мне видеть пастора? – сказал я горничной; но не мог добавить: «во имя Господа».

– Он ушел, – ответила она.

Ушел! Ушел! Планы мои разом рухнули, все заготовленные слова оказались ни к чему. Что было пользы идти так далеко? Я не мог двинуться с места.

– У вас важное дело? – спросила горничная.

– О нет! – ответил я. – Совсем пустяковое! Просто сегодня такая прекрасная погода, поэтому я решил прогуляться и засвидетельствовать свое почтение пастору.

Я не двинулся, она тоже. Я нарочно выпятил грудь, чтобы обратить ее внимание на булавку, которой была заколота моя куртка; я молил ее взглядом понять, зачем я пришел; но бедняжка ничего не поняла.

– Да, погода прекрасная. А фру тоже нет дома?

– Фру дома, но у нее ревматизм, она лежит на диване и не может подняться... Не угодно ли мне оставить записку?

– Ах нет! Просто я иногда выхожу прогуляться, подышать свежим воздухом. А сегодня такой чудесный день.

И я поплелся обратно. Что было толку болтать? К тому же у меня начала кружиться голова; это была не шутка, я мог упасть. Прием от 12 до 4; я опоздал на целый час, время милосердия истекло!

Дойдя до площади, я присел у церкви на скамейку. Боже, каким мрачным представлялось мне будущее! Я не плакал, у меня не было на это сил; измученный до предела, я сидел

бесцельно и неподвижно, сидел, терзаемый голодом. Грудь моя в особенности пылала, внутри нестерпимо жгло. Я пробовал жевать стружку, но это больше не помогало мне; челюсти мои устали от напрасной работы, и я уже не утруждал их. Я покорился. К тому же кусок почерневшей апельсиновой корки, который я подобрал на улице и тотчас же принялся жевать, вызвал у меня тошноту. Я был болен; на руках у меня вздулись синие жилы.

Чего я, собственно, ждал? Целый день я пытался раздобыть крону, которая могла поддержать во мне жизнь на несколько лишних часов. В конце концов, какая разница, свершится ли неизбежное днем раньше или днем позже? Порядочный человек на моем месте давным-давно пошел бы домой, лег и смирился. Мои мысли вдруг прояснились. Теперь я должен умереть. Стояла осень, мир был скован дремотой. Я испытал все средства, прибегнул ко всем источникам, какие знал. Я носился с этой мыслью и всякий раз, когда во мне еще брезжила надежда, с грустью шептал: «Глупец, ты уже умираешь!» Предстояло написать кое-какие письма, привести все в порядок, подготовиться. Нужно было хорошенько вымыться и убрать постель. Под голову я положу два листа белой писчей бумаги – это самое чистое, что у меня оставалось. А зеленым одеялом я мог бы...

Зеленое одеяло! Я вдруг встрепенулся, кровь бросилась мне в голову, и сердце мое сильно забилося. Я встал со скамейки и спешу вперед, жизнь снова пробудилась во мне, и я то и дело повторяю отрывисто: «Зеленое одеяло! Зеленое одеяло!» Я иду все быстрее, точно стараюсь кого-то догнать, и вскоре снова оказываюсь в своем жилище – мастерской жестянщика.

Не мешкая и не колеблясь в своем решении, я подхожу к кровати и скатываю одеяло Ханса Паули. Какая прекрасная мысль пришла мне в голову, теперь я спасен! Я преодолел свою постыдную нерешимость, я махнул на все рукой. Ведь я не святой, не какой-нибудь добродетельный идиот. Я в здравом уме...

Взяв одеяло под мышку, я отправляюсь на Стенерсгатен, в дом номер пять.

Я постучал и вошел в большую незнакомую комнату. Дверной колокольчик у меня над головой прозвенел громко и отчаянно. Из соседней комнаты вышел какой-то человек с набитым ртом и встал за прилавок.

– Дайте мне полкроны за эти очки! – сказал я. – Через несколько дней я их непременно выкуплю.

– Что? Ведь оправа просто стальная?

– Да.

– Нет, я не могу их взять.

– Разумеется. Ведь я, собственно, пошутил. Вот у меня тут одеяло, которое, в сущности, мне больше не нужно, и я хотел бы от него избавиться.

– К сожалению, у меня целый склад одеял, – ответил он, а когда я развернул одеяло, лишь мельком взглянул на него и воскликнул: – Прошу прощения, но это мне тоже без надобности.

– Я нарочно сразу показал вам изнанку, – с лицевой стороны оно гораздо лучше.

– Все равно я его не возьму, ведь никто не даст за него даже десяти эре.

– Понятное дело, оно ничего не стоит, – согласился я. – Но мне казалось, что вместе с другим старым одеялом его можно продать.

– Нет, нет, напрасный труд.

– Может быть, дадите хоть двадцать пять эре? – спросил я.

– Нет, право, я не могу его взять, милейший, оно мне совершенно ни к чему.

Я снова сунул одеяло под мышку и пошел домой.

Как ни в чем не бывало я разостлал одеяло на кровати, тщательно расправил его, как будто и не носил никуда. Решившись на эту авантюру, я, кажется, был не в своем уме; и чем больше я думал об этом, тем нелепее представлялся мне мой поступок. Очевидно, это был приступ слабости, какое-то внутреннее отупение. Но я почувствовал, что это западня, понял,

что теряю разум, и первым делом предложил процентщику очки. А теперь я был так рад, что не совершил преступления, которое отравило бы последние часы моей жизни.

Я снова пошел бродить по городу.

У храма Спасителя я опять сел на скамейку, свесил голову на грудь, истерзанный недавними волнениями, больной и изнуренный голодом. А время шло.

Я просидел час под открытым небом; здесь было светлее, чем дома; кроме того, мне казалось, что на свежем воздухе не так мучительно ныла грудь; я не спешил вернуться домой.

Я дремал, раздумывал, и мне было очень тяжело. Я подобрал камешек, обтер его, сунул в рот и стал сосать; при этом я почти не шевелился и даже не моргал. Мимо проходили люди, слышался грохот карет, стук подков, голоса.

Отчего бы не попытаться все-таки счастья с пуговицами? Конечно, из этого ничего не выйдет, и, кроме того, я положительно болен. Но если хорошенько все взвесить, то ведь все равно по дороге домой я пройду мимо лавки процентщика, того самого, к которому я так часто заглядывал.

Наконец я встал и медленно, бессильно поплелся по улицам. Лоб у меня горел, началась лихорадка, и я спешил, как мог. Я снова прошел мимо булочной, где в витрине был выставлен хлеб.

– Ну вот, остановимся здесь, – сказал я с деланной решимостью. – А если войти и *попросить* кусок хлеба? – Эта мысль была мимолетна, она вспыхнула, как искорка; в действительности я этого не думал. – Тьфу! – прошептал я, покачал головой и пошел дальше, смеясь над самим собой. Я отлично знал, как бесполезно было заходить в лавку с этой просьбой.

В переулке влюбленные шептались у ворот; чуть подальше девица высунулась в окно. Я шел так медленно и осторожно, что могло показаться, будто я чего-то хочу, – и девица вышла на улицу.

– Как поживаем, старина? Что такое, ты болен? Господи, да на тебе лица нет!

И девица быстро ушла в дом.

Я тотчас же остановился. Что значит: лица нет? Неужели я умираю? Я коснулся рукою щек: да, конечно, я очень худ. Щеки ввалились, они были как два блюдца. Ах ты Господи! И я поплелся дальше.

Потом я снова остановился. Должно быть, моя худоба чудовищна. И глаза совсем ввалились. Интересно, на кого я похож? Разнесчастная моя судьба, живой человек превратился от голода в этакую развалину! Меня снова охватило бешенство, это была словно последняя вспышка, судорога. Стало быть, лица нет? У меня хорошая голова, второй такой не сыскать во всей стране, и пара кулаков, которые – Боже избави! – могли бы стереть человека в порошок, и я гибну от голода в самом центре Христиании! Разве это мыслимо? Я жил в свинарнике и надрывался с утра до ночи, как черный вол.

От чтения у меня не стало глаз, мозг иссох от голода, – а что я получил взамен? Даже уличные девки ужасаются и кричат «Господи!» при виде меня. Но теперь этому придет конец, – понятно тебе? – придет конец, черт возьми!.. Я трясся от бешенства и скрежетал зубами, слабость захлестывала меня, в глазах стояли слезы, с губ слетали проклятия, и так я плелся вперед, не обращая внимания на прохожих. Я снова начал мучить себя, намеренно стучался лбом о фонарные столбы, глубоко вонзал ногти в ладони, в безумии кусал себе язык, когда начинал говорить бессвязно, и хохотал всякий раз, когда мне было больно.

– Да, но что же мне делать? – говорю я наконец самому себе. И несколько раз топаю ногой, повторяя: – Что же делать?

Какой-то случайный прохожий говорит мне с улыбкой:

– Попросите, чтобы вас арестовали.

Я посмотрел ему вслед. Это был известный гинеколог по прозвищу Герцог. Даже он не понял моего состояния, а ведь мы были знакомы и здоровались за руку. Я присмирел. Попро-

сильно, чтобы меня арестовали? Да, он прав, я сошел с ума. Я чувствовал безумие в своей крови, чувствовал его искры в мозгу. Так вот какой мне уготован конец! Да, да! И я поплелся дальше медленным, похоронным шагом. Значит, вот какая судьба меня ждет!

Вдруг я снова останавливаюсь.

– Только не арест! – говорю я. – Только не это!

Я потерял голос от страха. Я просил, я молил всех святых, чтобы они избавили меня от ареста. Ведь я опять попал бы в ратушу, меня заперли бы в темной камере, где нет и проблеска света. Только не арест! Были и другие возможности, которые я еще не испытывал. Но я их испытаю, я буду упорен, не пожалею времени, стану неутомимо ходить из дома в дом. Есть, например, музыкальный магазин Сислера, туда я и не заглядывал. Чем не выход из положения... Я бормотал на ходу, а потом снова тихонько заплакал от жалости к себе. Только бы меня не арестовали!

Сислер? Может быть, это наитие свыше? Его имя пришло мне в голову само собой, и жил он так далеко; но я наведуясь к нему, я пойду медленно и время от времени буду отдыхать. Я знаю этот магазин, часто бывал там в лучшие времена, покупал ноты. Что, если попросить у него полкроны? Но это может его смутить; спрошу сразу крону.

Я вошел в магазин и пожелал видеть хозяина; мне указали, куда пройти. В комнате сидел человек, одетый по последней моде, и просматривал бумаги.

Я пролепетал извинение и изложил свое дело. Бедственное положение вынудило меня обратиться к нему... Я очень скоро верну деньги... Как только получу гонорар за статью... Он окажет мне величайшее благодеяние...

Я еще не кончил говорить, как он уже снова склонился над столом и продолжал свое занятие. Когда я умолк, он покосился на меня, качнул своей красивой головой и сказал:

– Нет!

Просто «нет». Без всяких объяснений. Ни единого слова!

Колени у меня дрожали, и я прислонился к маленькому лакированному шкафчику. Я решил попробовать еще раз. Почему именно он пришел мне в голову, ведь я живу так далеко на Ватерланне? В левом боку покалывало, я покрылся испариной.

– Гм... Поверьте, я очень ослабел, – сказал я. – Тяжкая немощ. Но не позднее чем через два дня у меня будет возможность вернуть долг. Не окажете ли мне любезность?

– Милейший, почему вы пришли именно ко мне? – сказал он. – Я вас никогда в глаза не видел, вы для меня человек с улицы. Обратитесь в газету, где вас знают.

– Но я прошу только на один вечер! – сказал я. – Редакция уже закрыта, а я очень голоден.

Он упорно качал головой, все качал головой, даже когда я взялся за дверь.

– Прощайте! – сказал я.

«Это не было наитие свыше, – подумал я и горько улыбнулся. – Уж если на то пошло, с такой высоты я и сам мог бы ниспослать наитие». Я прохожу один квартал за другим, по временам немного отдыхая на ступеньках. Только бы меня не арестовали! Ужас перед темной камерой преследовал меня, не давал мне ни минуты покоя; завидев полицейского, я всякий раз сворачивал в боковую улицу, чтобы избежать встречи с ним.

– Ну, теперь отсчитаем сто шагов, – сказал я, – и снова попытаем счастья! Когда-нибудь да получится...

Это была маленькая лавчонка, в которую я раньше никогда не заходил. За прилавком стоял простой на вид человек, за спиной у него была дверь с фарфоровой вывеской, товар на длинных полках и стеллажах. Я дождался, пока не ушла из лавки последняя покупательница – молодая дама с ямочками на щеках. Какой счастливый был у нее вид! Я не хотел обращать на себя ее внимание и отвернулся.

– Что вам угодно? – спросил приказчик.

– Могу ли я видеть хозяина?

– Нет, он уехал в горы, в Йотунхейм, – ответил он. – А у вас важное дело?

– Мне нужно несколько эре на хлеб, – сказал я с насильственной улыбкой. – Я голоден, и в карманах у меня пусто.

– В таком случае, я не богаче вас, – сказал он и начал раскладывать мотки пряжи.

– Ах, не гоните меня в такую трудную минуту! – сказал я, похолодев. – Поверьте, я умираю с голоду, – вот уже несколько дней у меня крошки во рту не было.

Он молча, с самым серьезным видом, принялся выворачивать свои карманы.

Как, мне не угодно поверить ему на слово?

– Я прошу всего пять эре, – сказал я. – А через два дня вы получите десять.

– Любезный, вы хотите, чтобы я украл деньги из кассы? – сердито спросил он.

– Да, – сказал я. – Возьмите пять эре из кассы.

– Это не в моих правилах, – возразил он и добавил: – Кстати, мне пора закрывать лавку.

Я ушел, истерзанный голодом, сгорая со стыда. Нет, довольно! Это уж слишком. Столько лет я держался, в такие тяжкие часы сохранял достоинство, а теперь вдруг скатился до самого примитивного нищенства. За один день я своим бесстыдством лишил возвышенности все свои мысли, выпачкал душу. Не краснея, я плакался и кланялся деньгами у ничтожного лавочника. А к чему это привело? Разве не остался я все равно без куска хлеба? И теперь я стал отвратителен самому себе. Да, необходимо положить этому конец! Как раз сейчас запираются ворота моего дома, и мне нужно поторопиться, если я не хочу провести еще одну ночь в ратуше...

Это придало мне силы; ночевать в ратуше я не хотел. Скорчившись, держась за левый бок, чтобы хоть немного унять колику, я поплелся дальше, не сводя глаз с тротуара, чтобы знакомым, если они попадутся навстречу, не приходилось мне кланяться; я спешил к пожарному депо. Слава Богу, часы на храме Спасителя показывали только семь, и у меня еще оставалось три часа, прежде чем запрут ворота. Напрасно я испугался!

Итак, все испытано, сделано все возможное. «Но какой несчастливый день, с утра до вечера мне ни разу не повезло», – подумал я. Если бы рассказать это кому-нибудь, никто не поверит, а если бы описать, скажут, что все это я выдумал. Ни разу! Стало быть, ничего не попишешь; только ни за что не впадать больше в жалобный тон. Тьфу, это так противно, поверь, – ты внушаешь мне отвращение! Раз нет надежды, значит, нет. Впрочем, нельзя ли украсть на конюшне горсть овса? Эта мысль промелькнула, как лучик, как полоска света, я знал, что конюшня заперта.

Меня это не опечалило, и я медленно поплелся к дому. На счастье, мне только теперь захотелось пить, впервые за целый день, и я искал, где бы напиться. От базара я был слишком далеко, а в частный дом мне заходить не хотелось; пожалуй, я мог бы потерпеть до возвращения домой; на это потребуется с четверть часа. Еще неизвестно, как подействует на меня глоток воды; мой желудок уже ничего не принимал, меня тошнило даже от слюны, которую я глотал.

А пуговицы? Я еще не попытал счастья с пуговицами! Тут я улыбнулся. Может быть, все-таки найдется выход! Еще не все потеряно! Без сомнения, я получу за них десять эре, а завтра раздобуду где-нибудь еще десять, в четверг же мне заплатят за статью. Нужно только собраться с силами, и все наладится! Как я, в самом деле, мог забыть про пуговицы! Я вынул их из кармана и рассматривал на ходу; в глазах у меня мутилось от радости, я плохо видел улицу, по которой шел.

Как хорошо я знал большой подвал, где часто искал спасения в темные вечера, он был мне другом и в то же время высасывал из меня кровь! Все мое имущество постепенно перекочевало туда, все хозяйственные домашние мелочи, все книги до единой. В дни распродажи я ходил туда смотреть и радовался всякий раз, как мне казалось, что книги мои попадают в хорошие руки. Мои часы купил артист Магельсен, и я почти гордился этим; календарь с первым моим стихотворением приобрел один знакомый, а пальто досталось фотографу, который давал его теперь на прокат в своем ателье. Так что все устроилось прилично.

Я вошел, держа пуговицы в руке. Процентщик сидел за своей конторкой и писал.

– Я могу обождать, мне не к спеху, – сказал я, боясь помешать ему и рассердить его своим приходом. Мой голос звучал так глухо, я сам не узнавал его, а сердце стучало, как молот.

Он подошел ко мне с обычной своей улыбкой, положил на стойку обе руки и посмотрел мне в лицо, не говоря ни слова.

– Я тут кое-что принес и хотел бы показать, может быть, они пригодятся... дома они мне только мешают, просто спасения нет... вот эти пуговицы.

– Что же это у вас за пуговицы такие? – И он поглядел на мою ладонь.

– Нельзя ли мне получить за них несколько эре? Сколько вы сами найдете возможным...

По вашему усмотрению...

– За пуговицы? – И он изумленно посмотрел на меня. – За *эти* пуговицы?

– На сигару или хоть сколько-нибудь. Я проходил мимо, вот и зашел...

Старый ростовщик засмеялся и, не говоря ни слова, вернулся к своей конторке. Я стоял на месте. Собственно, я не очень на него рассчитывал, но все же у меня была слабая надежда. И этот его хохот прозвучал, как смертный приговор... А что, если я предложу ему в придачу очки?

– Я готов отдать также очки, это само собой разумеется, – сказал я и снял очки. – Мне всего-то и нужно десять эре или хотя бы пять.

– Вы сами знаете, что я не могу взять ваши очки, – сказал процентщик. – Я вам это уже говорил.

– Но мне нужна почтовая марка, – глухо сказал я. – Я не могу даже отослать письмо, а это необходимо. Дайте мне марку в десять или в пять эре.

– Ступайте отсюда с Богом! – отозвался он и махнул на меня рукой.

«Ну, теперь будь что будет!» – сказал я себе. Я машинально надел очки, взял пуговицы и ушел, пожелав ему спокойной ночи и, как всегда, плотно прикрыв за собою дверь. Теперь уж ничего не поделаешь! На лестничной площадке я остановился и еще раз взглянул на пуговицы.

– Он решительно не хочет их взять! – сказал я. – Хотя пуговицы почти новые. Это для меня загадка.

Пока я стоял в раздумье, мимо меня прошел какой-то человек и стал спускаться вниз, в подвал. Впопыхах он слегка толкнул меня; мы оба извинились, я обернулся и смотрел ему вслед.

– Послушай, это ты? – сказал он вдруг снизу.

Потом он снова поднялся наверх, и я узнал его.

– Господи, какой у тебя вид! – сказал он. – Что ты здесь делаешь?

– Да так, было одно дельце. Но ты, я вижу, идешь туда же.

– Да. А ты что ему носил?

Колени у меня дрожали, я прислонился к стене и показал пуговицы, лежавшие у меня на ладони.

– Что за черт! – воскликнул он. – Нет, это уж слишком!

– До свидания! – сказал я и хотел уйти, так как в груди у меня закипали слезы.

– Нет, подожди! – сказал он.

Но чего мне ждать? Ведь он сам пришел к процентщику, быть может, принес свое обручальное кольцо, несколько дней голодал, задолжал хозяйке.

– Хорошо, – сказал я. – Если ты не долго...

– Ну конечно же, – сказал он, беря меня за руку. – Но, признаться, я не очень тебе верю, дурак ты этакий, так что пойдем-ка лучше вместе.

Я понял, о чем он, и ответил, чувствуя себя несколько оскорбленным:

– Не могу! Я обещал в половине восьмого быть на улице Бернта Анкера, и...

– В половине восьмого, так! Но сейчас-то уже восемь. Видишь, я держу часы в руке, и мне нужно только отнести их в подвал. Ступай за мной, голодный бродяга! Я раздобуду тебе не меньше пяти крон.

И он подтолкнул меня к двери.

Часть третья

Целая неделя прошла в изобилии и радости.

Я выкарабкался из беды, обедал каждый день, моя бодрость росла, и я придумывал одну затею за другой. Я работал сразу над тремя или четырьмя статьями, отдавая им всякую искру, всякую мысль, какая возникала в моей бедной голове, и мне казалось, что дело у меня идет лучше, чем прежде. Последнюю статью, на которую я потратил столько сил и возлагал столько надежд, редактор уже вернул обратно, и я тотчас же уничтожил ее, взбешенный и оскорбленный, изорвал, не перечитав. Теперь постараюсь устроиться в другую газету, чтобы иметь возможность лавировать. В худшем случае, если и это не поможет, наймусь в матросы: у пристани стоит «Монах», готовый к отплытию, и я, пожалуй, смогу отправиться на нем в Архангельск или куда там он плывет. Так что надежд у меня было хоть отбавляй.

Последнее потрясение не прошло для меня бесследно; начали выпадать волосы, мучительно болела голова, шалили нервы. Днем я писал, обернув руки тряпками, просто потому, что не терпел ощущения на них собственного своего дыхания. Когда Йенс Олай слишком сильно хлопал подо мною дверью конюшни или на заднем дворе начинала лаять собака, меня до мозга костей пронизывало холодом, и это ощущение отдавалось по всему телу. Мое здоровье заметно пошатнулось.

Изо дня в день я напряженно работал, с трудом находил время пообедать и снова принимался писать. Не только мой шаткий письменный столик, но и вся кровать были завалены заметками и исписанными листами, которые я исправлял, переделывал, тут же вставлял в новые статьи, задуманные в тот день, кое-что зачеркивал, неуклюжие места оживлял красочными словами, с большим трудом продвигаясь от фразы к фразе. Как-то вечером одна из статей была наконец готова, и я, счастливый и радостный, сунув ее в карман, отправился к «Командору». Давно пора было снова подумать о деньгах, потому что у меня почти ничего не осталось.

«Командор» просил подождать всего минутку... Сам он продолжал писать.

Я осмотрел тесное помещение: бюсты, литографии, газетные вырезки, огромная корзина, которая, казалось, могла поглотить человека. Мне стало очень грустно при виде этого чудовищного зева, этой драконовой пасти, вечно раскрытой, вечно готовой глотать отвергнутые работы, разбивать людские надежды.

– Какое у нас сегодня число? – вдруг спрашивает «Командор», не поднимая головы от стола.

– Двадцать восьмое! – отвечаю я, обрадовавшись, что могу оказать ему услугу.

– Двадцать восьмое. – И он продолжает писать. Наконец он запечатывает несколько писем, отправляет в корзину какие-то бумаги и кладет перо. Потом поворачивается в кресле и смотрит на меня. Заметив, что я все еще стою у двери, он полусерьезно-полушутливо делает знак рукою и указывает на стул.

Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, что на мне нет жилета, расстегиваю куртку и достаю рукопись из кармана.

– Это небольшой очерк о Корреджо, – говорю я. – Но к сожалению, это написано не совсем обычным...

Он берет из моей руки листки и начинает просматривать их. Он поворачивается ко мне лицом. Имя этого человека я слышал уже в ранней молодости, и много лет его газета имела

на меня огромное влияние, а сам он вблизи оказался вот каким. У него выющиеся волосы и несколько беспокойные карие глаза; он имеет привычку время от времени негромко сопеть. С виду он кроток, как пастор, этот человек с хлестким пером, которым он умеет бичевать до крови. Когда я смотрю на него, страх и удивление овладевают мною, чуть не плача, я невольно делаю шаг к нему, хочу выразить свою любовь за все, чему я у него научился, хочу попросить у него снисхождения – ведь я всего только жалкий бедняк, которому и без того трудно...

Он смотрит на меня и медленно, в задумчивости кладет рукопись. Чтобы ему легче было мне отказать, я сам протягиваю руку и говорю:

– Это, конечно, вам не подходит?

И улыбаюсь, делая вид, будто отношусь к этому совсем легко.

– Мы можем печатать лишь популярные статьи, – отвечает он. – Вы же знаете наших читателей. Нельзя ли сделать это попроще? Или взять другую тему, более понятную?

Его предупредительность изумляет меня. Я понимаю, что моя статья отвергнута, и все-таки я не мог бы получить более любезного отказа. Чтобы не задерживать его, я торопливо отвечаю:

– О да, конечно, можно.

Я направляюсь к двери. Кашлянув, прошу прощения за то, что обеспокоил его... Откланиваюсь и берусь за ручку двери.

– Если угодно, – говорит он, – я могу заплатить вам немного вперед. Вы потом отработаете.

Он сам видел, что я не гожусь в писатели, поэтому его предложение несколько унижительно для меня, и я отвечаю:

– Нет, благодарствуйте, в настоящее время я еще свожу концы с концами. Впрочем, я вам весьма признателен. Прощайте!

– Прощайте! – отвечает «Командор» и тотчас же отворачивается к своему письменному столу.

Во всяком случае, я не заслужил такого любезного обращения и был благодарен ему за это; мне следовало оценить его предупредительность. Я решил прийти к нему не раньше, чем напишу статью, которой сам буду вполне доволен; тогда это озадачит «Командора», и он, не колеблясь, предложит мне десять крон. Я пошел домой и снова взялся за перо.

В ближайшие дни, когда время подходит к восьми вечера и уже зажигают газовые фонари, со мною неизменно случается следующее.

Я выхожу из ворот, чтобы после дневных трудов и хлопот погулять по улицам, а у фонаря, подле самых ворот, стоит дама в черном, поворачивается ко мне лицом и провожает меня взглядом, когда я прохожу мимо. Я обращаю внимание, что на ней всегда одно и то же платье, одна и та же густая вуаль, закрывающая лицо и спадающая на грудь, а в руке маленький зонтик с кольцом из слоновой кости на рукоятке.

Уже третий вечер я вижу ее здесь, всегда на том же самом месте; как только я прохожу мимо, она медленно поворачивается и идет по улице в противоположную сторону.

Из моей головы, как из рога изобилия, сыплются фантазии, у меня возникает нелепая мысль, что она приходит ради меня. Я почти готов заговорить с нею, спросить ее, не ищет ли она кого-нибудь, не нужна ли ей моя помощь, нельзя ли мне проводить ее до дому, хотя я, к сожалению, так плохо одет, – вдруг ей понадобится защита на темной улице. Но я чувствую смутный страх, что это повлечет за собой расходы, – придется угостить ее вином, покатать в коляске, а у меня совсем не осталось денег; карманы мои пусты, – это угнетает, и я не осмеливаюсь хотя бы испытующе взглянуть на нее, когда прохожу мимо. Голод начал снова терзать меня, я не ел со вчерашнего дня; это, конечно, не так уж много, ведь мне не раз приходилось терпеть по несколько дней кряду, но я стал подозрительно слабеть и уже не мог голодать, как раньше, один-единственный день без пищи изнурял меня, и стоило мне выпить воды, как появ-

лялась неудержимая рвота. Кроме того, я очень мерз по ночам, ложился, не раздеваясь, и все равно мерз, леденел от озноба и страдал от холода во сне. Старое одеяло не могло спасти от сквозняков, и утром я просыпался, чувствуя, что нос мой превратился в сосульку от ледяного ветра, врывавшегося со двора.

Я иду по улице и думаю, как бы мне не свалиться еще до того, как я окончу свою следующую статью. Будь у меня свеча, я попытался бы работать ночью; на это ушло бы два часа, будь я действительно в рабочем состоянии; а завтра я снова мог бы пойти к «Командору».

Не долго думая я вхожу в кофейню и жду своего знакомого из банка, чтобы взять займы десять эре на свечку. Мне позволили обойти все комнаты, все столы, за которыми ели, пили и беседовали гости, я дошел до самого конца кофейни, до «красной комнаты», но так и не увидел своего знакомого. Подавленный и злой, я снова вышел на улицу и направился к дворцу.

Черт возьми, неужели моим невзгодам так и не будет конца! Я шагал широкими, яростными шагами, подняв воротник куртки и сжимая кулаки в карманах брюк, шел и проклинал свою несчастную звезду. Ни одной блаженной минуты за целых восемь месяцев, всякую неделю я голодаю, бедствую и теряю силы. И к тому же, при всей своей нищете, я честен, хе-хе, честен всегда и во всем! Боже правый, как я смешон! И я бормотал о том, как меня мучила совесть, потому что однажды я снес к ростовщику одеяло Ханса Паули. Я презрительно хохотал над своей больной совестью, брезгливо плевал на землю и не находил достаточно резких слов, издеваясь над своей глупостью. Ах, случись это теперь! Если б в этот миг я нашел на улице кошелек, потерянный школьницей, единственную монетку бедной вдовы, я поднял бы ее и сунул в карман, украл бы со спокойной совестью и сладко спал бы всю следующую ночь. Недаром я так долго страдал, мое терпение истощилось, и я был готов на все.

Я несколько раз обошел дворец, потом решил отправиться домой, замешкался еще немного в парке и наконец пошел по улице Карла-Юхана.

Было около одиннадцати часов. Вокруг царила полутьма, всюду бродили люди, то парами, то шумной толпой. Наступил великий миг, пришло время любви, когда души тайно сливаются и жизнь подобна счастливой сказке. Слышался шелест женских юбок, короткий, страстный смех, волнующий грудь, горячее, судорожное дыхание. Вдали, у Гранда, какой-то голос звал: «Эмма!» Вся улица была подобна болоту, над которым вздымались горячие пары.

Я невольно шарю в кармане, не найдется ли там двух крон. Страсть, которая трепещет в каждом людском движении, даже тусклый свет газовых фонарей, тихая, волнующая ночь – все это начинает оказывать на меня воздействие, а воздух вокруг полон шепота, объятий, трепетных признаний, недосказанных слов, отрывистых вскриков; несколько кошек с громким мяуканьем справляют свадьбу в подворотне Блумквиста. А у меня нет даже двух крон. Какое это горе, какое ужасное несчастье, что я так обнищал! Какое унижение, какой позор! И я снова стал думать о последней монетке бедной вдовицы, которую мог бы украсть, о шапке или носовом платке школьника, о котомке нищего, которую без малейшего колебания отнес бы к тряпичнику, и прокутил бы вырученные деньги. Чтобы утешить и вознаградить себя, я стал высискивать всевозможные недостатки у этих счастливых людей, скользивших мимо меня; я сердито пожимал плечами и презрительно смотрел на них, когда они проходили, пара за парой. Эти самодовольные лакомки-студенты, которые думают, что ведут себя как европейские повесы, когда им удается коснуться груди какой-нибудь швейки! Эти молодые люди, банкиры, коммерсанты, бульварные волокиты, которые не брезгают даже матросскими женами, толстыми куколками со скотного рынка, отдающимися за кружку пива в первой же подворотне. Ну и сирены! Их постель еще не остыла после посещения пожарного или конюха... Трон всегда свободен, доступен всякому, милости просим, взойдите!.. Я плевал изо всех сил, не забываясь о том, что могу попасть в кого-нибудь, был озлоблен, полон презрения к этим людям, льнувшим друг к другу и сходявшимся на моих глазах. Я высоко держал голову и был счастлив, что соблюл себя в чистоте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.